

August 1960

SALTICORN
MUSEUM



Записки институтки — Лидия Чарская

Чарская Лидия Алексеевна

Повесть "Записки институтки" рассказывает о жизни воспитанниц Павловского института благородных девиц. Переживания, секреты, клятвы, влюбленности и ссоры... Так ли уж отличались от девочек нынешнего времени институтские затворницы?

Повесть

- [Глава I. Отъезд](#)
- [Глава II. Новые лица, новые впечатления](#)
- [Глава III. Уроки](#)
- [Глава IV. В дортуаре](#)
- [Глава V. Немецкая дама. Гардеробная](#)
- [Глава VI. Сад. Тайна Нины. Ирочка Трахтенберг](#)
- [Глава VII. Суббота. В церкви. Письмо](#)
- [Глава VIII. Прием. Силюльки. Черная монахиня](#)
- [Глава IX. Вести из дому. Подвиг Нины](#)
- [Глава X. Первая ссора. Триумвират](#)
- [Глава XI. Невинно пострадавшая](#)
- [Глава XII. В лазарете. Примирение](#)
- [Глава XIII. Печальная новость. Подписка](#)
- [Глава XIV. 14 ноября](#)
- [Глава XV. Итог за полгода. Разъезд. Посылка](#)
- [Глава XVI. Праздники. Лезгинка](#)
- [Глава XVII. Высочайшие гости](#)
- [Глава XVIII. Проказы](#)
- [Глава XIX. Пост. Говельщицы](#)
- [Глава XX. Больная. Сон. Христос Воскресе!](#)
- [Глава XXI. Экзамены. Чудо](#)
- [Глава XXII. Болезнь Нины](#)
- [Глава XXIII. Прости, родная](#)
- [Глава XXIV. Выпуск. Сюрприз](#)

Моим дорогим подругам, бывшим воспитанницам Павловского института выпуска 1893 года, этот скромный труд посвящаю.

Автор

Когда веселой чередою
Мелькает в мыслях предо мною
Счастливых лет веселый рой,
Я точно снова оживаю,
Невзгоды жизни забываю
И вновь мирюсь с своей судьбой...

Я вспоминаю дни ученья,
Горячей дружбы увлеченья,
Проказы милых школьных лет,
Надежды силы молодые
И грезы светлые, живые
И чистой юности рассвет...

Глава I. Отъезд

В моих ушах еще звучит пронзительный свисток локомотива, шумят колеса поезда — и весь этот шум и грохот покрывают дорогие моему сердцу слова:

— Христос с тобой, деточка!

Эти слова сказала мама, прощаясь со мною на станции.

Бедная, дорогая мама! Как она горько плакала! Ей было так тяжело расставаться со мною!

Брат Вася не верил, что я уезжаю, до тех пор пока няня и наш кучер Андрей не принесли из кладовой старый чемоданчик покойного папы, а мама стала укладывать в него мое белье, книги и любимую мою куклу Лушу, с которой я никак не решилась расстаться. Няня туда же сунула мешок вкусных деревенских коржиков, которые она так мастерски стряпала, и пакетик малиновой смоквы, тоже собственного ее приготовления. Тут только, при виде всех этих сборов, горько заплакал Вася.

— Не уезжай, не уезжай, Люда, — просил он меня, обливаясь слезами и пряча на моих коленях свою курчавую головенку.

— Люде надо ехать учиться, крошка, — уговаривала его мама, стараясь утешить. — Люда приедет на лето, да и мы съездим к ней, может быть, если удастся хорошо продать пшеницу.

Добрая мамочка! Она знала, что приехать ей не удастся — наши средства, слишком ограниченные, не позволят этого, — но ей так жаль было огорчать нас с братишкой, все наше детство не расстававшихся друг с другом!..

Наступил час отъезда. Ни я, ни мама с Васей ничего не ели за ранним завтраком. У крыльца стояла линейка; запряженный в нее Гнедко умильно моргал своими добрыми глазами, когда я в последний раз подала ему кусок сахара. Около линейки собралась наша немногочисленная дворня: стряпка Катря с дочуркой Гапкой, Ивась — молодой садовник, младший брат кучера Андрея, собака Милка — моя любимица, верный товарищ наших игр — и, наконец, моя милая старушка няня, с громкими рыданиями провожающая свое «дорогое дитяtko».

Я видела сквозь слезы эти простодушные, любящие лица, слышала искренние пожелания «доброй панночке» и, боясь сама разрыдаться навзрыд, поспешно села в бричку с мамой и Васей.

Минута, другая, взмах кнута — и родимый хутор, тонувший в целой роще фруктовых деревьев, исчез из виду. Потянулись поля, поля бесконечные, милые, родные поля близкой моему сердцу Украины. А день, сухой, солнечный, улыбался мне голубым небом, как бы прощаясь со мною...

На станции меня ждала наша соседка по хуторам, бывшая институтка, взявшая на себя обязанность отвезти меня в тот самый институт, в котором она когда-то воспитывалась.

Недолго пришлось мне побыть с моими в ожидании поезда. Скоро подползло ненавистное чудовище, увозившее меня от них. Я не плакала. Что-то тяжелое надавило мне грудь и kloкотало в горле, когда мама дрожащими руками перекрестила меня и, благословив снятым ею с себя образком, повесила его мне на шею.

Я крепко обняла дорогую, прижалась к ней. Горячо целуя ее худенькие, бледные щеки, ее ясные, как у ребенка, синие глаза, полные слез, я обещала ей шепотом:

— Мамуля, я буду хорошо учиться, ты не беспокойся.

Потом мы обнялись с Васей, и я села в вагон.

Дорога от Полтавы до Петербурга мне показалась бесконечной.

Анна Фоминишна, моя попутчица, старалась всячески рассеять меня, рассказывая мне о Петербурге, об институте, в котором воспитывалась она сама и куда везла меня теперь. Поминутно при этом она угощала меня пастилой, конфетами и яблоками, взятыми из дома. Но кусок не шел мне в горло. Лицо мамы, такое, каким я его видела на станции, не выходило из памяти, и мое сердце больно сжималось.

В Петербурге нас встретил невзрачный, серенький день. Серое небо грозило проливным дождем, когда мы сходили на подъезд вокзала.

Наемная карета отвезла нас в большую мрачную гостиницу. Я видела, сквозь стекла ее, шумные улицы, громадные дома и беспрерывно снующую толпу, но мои мысли были далеко-далеко, под синим небом моей родной Украины, в фруктовом садике, подле мамочки, Васи, няни...

Глава II. Новые лица, новые впечатления

Было 12 часов дня, когда мы подъехали с Анной Фоминишной к большому красному зданию в Х-й улице.

— Это вот и есть институт, — сказала мне моя спутница, заставив дрогнуть мое и без того бившееся сердце.

Еще больше обомлела я, когда седой и строгий швейцар широко распахнул передо мной двери... Мы вошли в широкую и светлую комнату, называемую приемной.

— Новенькую-с привезли, доложить прикажете-с княгине-начальнице? — важно, с достоинством спросил швейцар Анну Фоминишну.

— Да, — ответила та, — попросите княгиню принять нас. — И она назвала свою фамилию.

Швейцар, неслышно ступая, пошел в следующую комнату, откуда тотчас же вышел, сказав нам:

— Княгиня просит, пожалуйста.

Небольшая, прекрасно обставленная мягкой мебелью, вся застланная коврами комната поразила меня своей роскошью. Громадные трюмо стояли между окнами, скрытыми до половины тяжелыми драпировками; по стенам висели картины в золоченых рамах; на этажерках и в хрустальных горках стояло множество прелестных и хрупких вещей. Мне,

маленькой провинциалке, чем-то сказочным показалась вся эта обстановка.

Навстречу нам поднялась высокая, стройная дама, полная и красивая, с белыми как снег волосами. Она обняла и поцеловала Анну Фоминишну с материнской нежностью.

— Добро пожаловать, — прозвучал ее ласковый голос, и она потрепала меня по щечке.

— Это маленькая Людмила Влассовская, дочь убитого в последнюю кампанию Влассовского? — спросила начальница Анну Фоминишну. — Я рада, что она поступает в наш институт... Нам очень желанны дети героев. Будь же, девочка, достойной своего отца.

Последнюю фразу она произнесла по-французски и потом прибавила, проводя душистой мягкой рукой по моим непокорным кудрям:

— Ее надо остричь, это не по форме. Аннет, — обратилась она к Анне Фоминишне, — не проводите ли вы ее вместе со мною в класс? Теперь большая перемена, и она успеет познакомиться с подругами.

— С удовольствием, княгиня! — поспешила ответить Анна Фоминишна, и мы все трое вышли из гостиной начальницы, прошли целый ряд коридоров и поднялись по большой, широкой лестнице во второй этаж.

На площадке лестницы стояло зеркало, отразившее высокую, красивую женщину, ведущую за руку смуглое, кудрявое, маленькое существо, с двумя черешнями вместо глаз и целой шапкой смоляных кудрей. «Это — я, Люда, — мелькнуло молнией в моей голове. — Как я не подхожу ко всей этой торжественно-строгой обстановке!»

В длинном коридоре, по обе стороны которого шли классы, было шумно и весело. Гул смеха и говора доносился до лестницы, но лишь только мы появились в конце коридора, как тотчас же воцарилась мертвая тишина.

— Маман, Маман идет, и с ней новенькая, новенькая, — сдержанно пронеслось по коридорам.

Тут я впервые узнала, что институтки называют начальницу «Маман».

Девочки, гулявшие попарно и группами, останавливались и низко приседали княгине. Взоры всех обращались на меня, менявшуюся в лице от волнения.

Мы вошли в младший класс, где у маленьких воспитанниц царило оживление. Несколько девочек рассматривали большую куклу в нарядном платье, другие рисовали что-то у доски, третьи, окружив пожилую даму в синем платье, отвечали ей урок на следующий день.

Лишь только Маман вошла в класс, все они моментально смолкли, отвесили начальнице условный реверанс и уставились на меня любопытными глазами.

— Дети, — прозвучал голос княгини, — я привела вам новую подругу, Людмилу Влассовскую, примите ее в свой круг и будьте добрыми друзьями.

— Mademoiselle, — обратилась Маман к даме в синем платье, — вы займетесь новенькой. — Затем, обращаясь к Анне Фоминишне, она сказала: — Пойдемте, Аннет, пусть девочка познакомится с товарками.

Анна Фоминишна послушно простилась со мной.

Мое сердце екнуло. С ней уходила последняя связь с домом.

— Поцелуйте маму, — шепнула я ей, силясь сдержать слезы.

Она еще раз обняла меня и вышла вслед за начальницей.

Лишь только большая стеклянная дверь закрылась за ними, я почувствовала полное одиночество.

Я стояла, окруженная толпой девочек — черненьких, белокурых и русых, больших и маленьких, худеньких и полных, но безусловно чужих и далеких.

— Как твоя фамилия? Я не дослышала, — спрашивала одна.

— А зовут? — кричала другая.

— Сколько тебе лет? — приставала третья.

— А ты любишь пирожные? — раздался голос со стороны.

Я не успевала ответить ни на один из этих вопросов.

— Влассовская, — раздался надо мною строгий голос классной дамы, — пойдете, я покажу вам ваше место.

Я вздрогнула. Меня в первый раз называли по фамилии, и это неприятно подействовало на меня.

Классная дама взяла меня за руку и отвела на одну из ближайших скамеек. На соседнем со мною месте сидела бледная, худенькая девочка с двумя длинными, блестящими, черными косами.

— Княжна Джаваха, — обратилась классная дама к бледной девочке, — вы покажете Влассовской заданные уроки и расскажете ей правила.

Бледная девочка встала при первых словах классной дамы и подняла на нее большие черные и недетские серьезные глаза.

— Хорошо, мадмуазель, я все сделаю, — произнес несколько гортанный, с незнакомым мне акцентом голос, и она опять села.

Я последовала ее примеру.

Классная дама отошла, и толпа девочек нахлынула снова.

— Ты откуда? — звонко спросила веселая, толстенькая блондинка с вздернутым носиком.

— Из-под Полтавы.

— Ты — хохлушка! Ха-ха-ха!.. Она, mesdames, хохлушка! — разразилась она веселым раскатистым смехом.

— Нет, — немного обиженным тоном ответила я, — у мамы там хутор, но мы сами петербургские... Только я там родилась и выросла.

— Неправда, неправда, ты — хохлушка, — не унималась шалунья. — Видишь, у тебя и глаза хохлацкие и волосы... Да ты постой... ты — не цыганка ли? Ха-ха-ха!.. Правда, она — цыганка, mesdames?

Мне, уставшей с дороги и смены впечатлений, было крайне неприятно слышать весь этот шум и гам. Голова моя кружилась.

— Оставьте ее, — раздался несколько властный голос моей соседки, той самой бледной девочки, которую классная дама назвала княжной Джавахой. — Хохлушка она или цыганка, не все ли равно?.. Ты — глупая хохотунья, Бельская, и больше ничего, — прибавила она сердито, обращаясь к толстенькой блондинке. — Марш по местам! Новенькой надо заниматься.

— Джаваха, Ниночка Джаваха желает изображать покровительницу новенькой... — зашумели девочки. — Бельская, слышишь? Попробуй-ка «нападать», — поддразнивали они Бельскую.

— Куда уж нам с сиятельными! — с досадой ответила та, отходя от нас.

Когда девочки разошлись по своим местам, я благодарно взглянула на мою избавительницу.

— Ты не обращай на них внимания; знаешь, — сказала она мне тихо, — эта Бельская всегда «задирает» новеньких.

— Как вас зовут? — спросила я мою покровительницу, невольно преклоняясь перед ее положительным, недетским тоном.

— Я — княжна Нина Джаваха-алы-Джамата, но ты меня попросту зови Ниной. Хочешь, мы будем подружками?

И она протянула мне свою тоненькую ручку.

— О, с удовольствием! — поспешила я ответить и потянулась поцеловать Нину.

— Нет, нет, не люблю нежностей! У всех институток привычка лизаться, а я не люблю! Мы лучше так... — И она крепко пожала мою руку. — Теперь я тебе покажу, что задано на завтра.

Пронзительный звонок не дал ей закончить. Девочки бросились занимать места. Большая перемена кончилась. В класс входил француз-учитель.

Глава III. Уроки

Худенький и лысый, он казался строгим благодаря синим очкам, скрывавшим его глаза.

— Он предобрый, этот monsieur Ротье, — как бы угадывая мои мысли, тихо шепнула Нина и, встав со скамьи, звучно ответила, что было приготовлено на урок. — Зато немец — злюка, — так же тихо прибавила она, сев на место.

— У нас — новенькая, une nouvelle eleve (новая ученица), — раздался среди полной тишины возглас Бельской.

— Ah? — спросил, не поняв, учитель.

— Taisez-vous, Bielsky (молчите, Бельская), — строго остановила ее классная дама.

— Всюду с носом, — сердито проговорила Нина и передернула худенькими плечиками.

— Mademoiselle Ренн, — вызвал француз, — voulez-vous repondre votre lecon (отвечайте урок).

Очень высокая и полная девочка поднялась с последней скамейки и неохотно, вяло пошла на середину класса.

— Это — Катя Ренн, — поясняла мне моя княжна, — страшная лентяйка, последняя ученица.

Ренн отвечала басню Лафонтэна, сбиваясь на каждом слове.

— Tres mal (очень плохо), — коротко бросил француз и поставил Ренн единицу.

Классная дама укоризненно покачала головой, девочки зашевелились.

Тою же ленивой походкой Ренн совершенно равнодушно пошла на место.

— Princesse Djiavaha, allons (княжна Джаваха), — снова раздался голос француза, и он ласково кивнул Нине.

Нина встала и вышла, как и Ренн, на середину класса. Милый, несколько гортанный голосок звонко и отчетливо прочел ту же самую басню. Щечки Нины разгорелись, черные глаза заблестели, она оживилась и стала ужасно хорошенькая.

— Merci, mon enfant (благодарю, дитя мое), — еще ласковее произнес старик и кивнул девочке.

Она повернулась ко мне, — прошла на место и села. На ее оживленном личике играла улыбка, делавшая ее прелестной. Мне казалось в эту минуту, что я давно знаю и люблю Нину.

Между тем учитель продолжал вызывать по очереди следующих девочек. Предо мной промелькнул почти весь класс. Одни были слабее в знании басни, другие читали хорошо, но Нина прочла лучше всех.

— Он вам поставил двенадцать? — шепотом обратилась я к княжне.

Я была знакома с системой баллов из разговоров с Анной Фоминишной и знала, что 12 — лучший балл.

— Не говори мне «вы». Ведь мы — подруги, — и Нина, покачав укоризненно головкой, прибавила: — Скоро звонок — конец урока, мы тогда с тобой поболтаем.

Француз отпустил на место девочку, читавшую ему все ту же басню, и, переговорив с классной дамой по поводу «новенькой», вызвал наконец и меня, велел прочесть по книге.

Я страшно смутилась. Мама, отлично знавшая языки, занималась со мною очень усердно, и я хорошо читала по-французски, но я взволновалась, боясь быть осмеянной этими чужими девочками. Черные глаза Нины молча ободрили меня. Я прочла смущенно и сдержанно, но тем не менее толково. Француз кивнул мне ласково и обратился к Нине шутливо:

— Prenez garde, petite princesse, vous aurez une rivale (берегитесь, княжна, у вас будет соперница), — и, кивнув мне еще раз, отпустил на место.

В ту же минуту раздался звонок, и учитель вышел из класса.

Следующий урок был чистописание. Мне дали тетрадку с прописями, такую же, как и у моей соседки.

Насколько чинно все сидели за французским уроком, настолько шумно за уроком чистописания. Маленькая, худенькая, сморщенная учительница напрасно кричала и выбивалась из сил. Никто ее не слушал; все делали, что хотели. Классную даму зачем-то вызвали из класса, и девочки окончательно разбушевались.

— Антонина Вадимовна, — кричала Бельская, обращаясь к учительнице, — я написала «красивый монумент». Что дальше?

— Сейчас, сейчас, — откликнулась та и спешила от скамейки к скамейке.

Рядом со мною, согнувшись над тетрадкой и забавно прикусив высунутый язычок, княжна Джаваха, склонив головку набок, старательно выводила какие-то каракульки.

Звонок к обеду прекратил урок. Классная дама поспешно распахнула двери с громким возгласом: «Mettez-vous par paires, mesdames» (становитесь в пары).

— Нина, можно с тобой? — спросила я княжну, становясь рядом с ней.

— Я выше тебя, мы не под пару, — заметила Нина, и я увидела, что легкая печаль легла тенью на ее красивое личико. — Впрочем, постой, я попрошу классную даму.

Очевидно, маленькая княжна была общей любимицей, так как m-lle Арно (так звали наставницу) тотчас же согласилась на ее просьбу.

Чинно выстроились институтки и сошли попарно в столовую, помещавшуюся в нижнем этаже. Там уже собрались все классы и строились на молитву.

— Новенькая, новенькая, — раздался сдержанный говор, и все глаза обратились на меня, одетую в «собственное» скромное коричневое платье, резким пятном выделявшееся среди зеленых камлотовых платьев и белых передников — обычной формы институток.

Дежурная ученица из институток старших классов прочла молитву перед обедом, и все институтки сели за столы по 10 человек за каждый.

Мне было не до еды. Около меня сидела с одной стороны та же милая княжна, а с другой — Маня Иванова — веселая, бойкая шатенка с коротко стриженными волосами.

— Влассовская, ты не будешь есть твой биток? — на весь стол крикнула Бельская. — Нет? Так дай мне.

— Пожалуйста, возьми, — поторопилась я ответить.

— Вздор! Ты должна есть и биток, и сладкое тоже, — строго заявила Джаваха, и глаза ее сердито блеснули. — Как тебе не стыдно кланчить, Бельская! — прибавила она.

Бельская сконфузилась, но ненадолго: через минуту она уже звонким шепотом передавала следующему «столу»:

— Mesdames, кто хочет меняться — биток за сладкое?

Девочки с аппетитом уничтожали холодные и жесткие битки... Я невольно вспомнила пышные свиные котлетки с луковым соусом, которые у нас на хutore так мастерски готовила Катря.

— Ешь, Люда, — тихо проговорила Джаваха, обращаясь ко мне.

Но я есть не могла.

— Смотрите на Ренн, mesdames'очки, она хотя и получила единицу, но не огорчена нисколько, — раздался чей-то звонкий голосок в конце стола.

Я подняла голову и взглянула на середину столовой, где ленивая, вялая Ренн без передника стояла на глазах всего института.

— Она наказана за единицу, — продолжал тот же голосок.

Это говорила очень миловидная, голубоглазая девочка, лет восьми на вид.

— Разве таких маленьких принимают в институт? — спросила я Нину, указывая ей на девочку.

— Да ведь Крошка совсем не маленькая — ей уже одиннадцать лет, — ответила княжна и прибавила: — Крошка — это ее прозвище, а настоящая фамилия ее — Маркова. Она любимица нашей начальницы, и все «синявки» к ней подлизываются.

— Кого вы называете «синявками»? — любопытствовала я.

— Классных дам, потому что они все носят синие платья, — тем же тоном продолжала княжна, принимаясь за «бламанже», отдающее стеарином.

Новый звонок возвестил окончание обеда. Опять та же дежурная старшая прочла молитву, и институтки выстроились парами, чтобы подняться в классы.

— Ниночка, хочешь смоквы и коржиков? — спросила я шепотом Джаваху, вспомнив о лакомствах, заготовленных мне няней.

Едва я вспомнила о них, как почувствовала легкое щекотание в горле... Мне захотелось неудержимо разрыдаться. Милые, бесконечно близкие лица выплыли передо мной как в тумане.

Я упала головой на скамейку и судорожно заплакала.

Ниночка сразу поняла, о чем я плачу.

— Полно, Галочка, брось... Этим не поможешь, — успокаивала она меня, впервые называя меня за черный цвет моих волос Галочкой. — Тяжело первые дни, а потом привыкнешь... Я сама билась, как птица в клетке, когда привезли меня сюда с Кавказа. Первые дни мне было ужасно грустно. Я думала, что никогда не привыкну. И ни с кем не могла подружиться. Мне никто здесь не нравился. Бежать хотела... А теперь как дома... Как взгрустнется, песни пою... наши родные кавказские песни... и только. Тогда мне становится сразу как-то веселее, радостнее...

Гортанный голосок княжны с заметным кавказским произношением приятно ласкал меня; ее рука лежала на моей кудрявой головке — и мои слезы понемногу иссыкли.

Через минут десять мы уже уписывали принесенные снизу сторожем мои лакомства, распаковывали вещи, заботливо уложенные няней. Я показала княжне мою куклу Лушу. Но она даже едва удостоила взглянуть, говоря, что терпеть не может кукол. Я рассказывала ей о Гнедке, Милке, о Гапке и махровых розах, которые вырастил Ивась. О маме, няне и Васе я боялась говорить, они слишком живо рисовались моему воображению: при воспоминании о них слезы набегали мне на глаза, а моя новая подруга не любила слез.

Нина внимательно слушала меня, прерывая иногда мой рассказ вопросами.

Незаметно пробежал вечер. В восемь часов звонок на молитву прервал наши беседы.

Мы попарно отправились в спальню, или «дортуар», как она называлась на институтском языке.

Глава IV. В дортуаре

Большая длинная комната с четырьмя рядами кроватей — дортуар — освещалась двумя газовыми рожками. К ней примыкала умывальня с медным желобом, над которым помещалась целая дюжина кранов.

— Княжна Джаваха, новенькая ляжет подле вас. Соседняя кровать ведь свободна? — спросила классная дама.

— Да, m-lle, Федорова больна и переведена в лазарет.

Очевидно, судьба мне благоприятствовала, давая возможность быть неразлучной с Ниной.

Не теряя ни минуты, Нина показала мне, как стлать кровать на ночь, разложила в ночном столике все мои вещи и, вынув из своего шкафчика кофточку и чепчик, стала расчесывать свои длинные шелковистые косы.

Я невольно залюбовалась ей.

— Какие у тебя великолепные волосы, Ниночка! — не утерпела я.

— У нас на Кавказе почти у всех такие, и у мамы были такие, и у покойной тети тоже, — с какой-то гордостью и тихой скорбью проговорила княжна. — А это кто? — быстро прибавила она, вынимая из моего чемоданчика портрет моего отца.

— Это мой папа, он умер, — грустно отвечала я.

— Ах да, я слышала, что твой папа был убит на войне с турками. Мамап уже месяц тому назад рассказывала нам, что у нас будет подруга — дочь героя. Ах, как это хорошо! Мой папа тоже военный... и тоже очень, очень храбрый; он — в Дагестане... а мама умерла давно... Она была такая ласковая и печальная... Знаешь, Галочка, моя мама была простая джигитка; папа взял ее прямо из аула и женился на ней. Мама часто плакала, тоскуя по семье, и потом умерла. Я помню ее, какая она была красивая! Мы очень богаты!.. На Кавказе нас все-все знают... Папа уже давно начальник — командир полка. У нас на Кавказе большое имение. Там я жила с бабушкой. Бабушка у меня очень строгая... Она бранила меня за все, за все... Галочка, — спросила она вдруг другим тоном, — ты никогда не скакала верхом? Нет? А вот меня папа выучил... Папа очень любит меня, но теперь ему некогда заниматься мной, у него много дел. Ах, Галочка, как хорошо было ехать горными ущельями на моем Шалом... Дух замирает... Или скакать по долине рядом с папой... Я очень хорошо езжу верхом. А глупые девочки-институтки смеялись надо мной, когда я им рассказывала про все это.

Нина воодушевилась... В ней сказывалась южанка. Глазки ее горели как звезды.

Я невольно преклонялась перед этой смелой девочкой, я — боявшаяся сесть на Гнедка.

— Пора спать, дети, — прервал наш разговор возглас классной дамы, вошедшей из соседней с

дортуаром комнаты.

М-лле Арно собственноручно уменьшила свет в обоих рожках, и дортуар погрузился в полумрак.

Девочки с чепчиками на головах, делавших их чрезвычайно смешными, уже лежали в своих постелях.

Нина стояла на молитве перед образком, висевшим на малиновой ленточке в изголовье кровати, и молилась.

Я попробовала последовать ее примеру и не могла. Мама, Вася, няня — все они, мои дорогие, стояли как живые передо мной. Ясно слышались мне прощальные напутствия моей мамули, звонкий, ребяческий голосок Васи, просивший: «Не уезжай, Люда», — и мне стало так тяжело и больно в этом чужом мне, мрачном дортуаре, между чужими для меня девочками, что я зарылась в подушку головой и беззвучно зарыдала.

Я плакала долго, искренно, тихо повторяя милые имена, называя их самыми нежными названиями. Я не слышала, как m-lle Арно, окончив свой обход, ушла к себе в комнату, и очнулась только тогда, когда почувствовала, что кто-то дергает мое одеяло.

— Ты опять плачешь? — тихим шепотом произнесла княжна, усевшись у моих ног.

Я ничего не ответила и еще судорожнее зарыдала.

— Не плачь же, не плачь... Давай поболтаем лучше. Ты свесься вот так, в «переулок» (переулком назывались пространства между постелями).

Я подавила слезы и последовала ее примеру.

В таинственном полумраке дортуара долго за полночь слышался наш шепот. Она расспрашивала меня о доме, о маме, Васе. Я ей рассказывала о том, какой был неурожай на овес, какой у нас славный в селе священник, о том, как глупая Гапка боится русалок, о любимой собаке Милке, о том, как Гнедко болел зимой и как его лечил кучер Андрей, и о многом-многом другом. Она слушала меня с любопытством. Все это было так ново для маленькой княжны, знавшей только свои горные теснины Кавказа да зеленые долины Грузии. Потом она стала рассказывать сама, увлекаясь воспоминаниями... С особенным увлечением она рассказывала про своего отца. О, она горячо любила своего отца и ненавидела бабушку, отдавшую ее в институт... Ей было здесь очень тоскливо порою...

— Скорее бы прошли эти скучные дни... — шептала Нина. — Весной за мной приедет папа и увезет меня на Кавказ... Целое лето я буду отдыхать, ездить верхом, гулять по горам... — восторженно говорила она, и я видела, как разгорались в темноте ее черные глазки, казавшиеся огромными на матово-бледном лице.

Мы уснули поздно-поздно, каждая уносясь мечтами на свою далекую родину...

Не знаю, что грезилось княжне, но мой сон был полон светлых видений.

Мне снился хутор в жаркий, ясный, июльский день... Наливные яблоки на тенистых деревьях нашего сада, Милка, изнывающая от летнего зноя у своей будки... а на крылечке за большими корзинами черной смородины, предназначенной для варенья, — моя милая, кроткая мама. Тут же и няня, расчесывающая по десять раз в день кудрявую головенку Васи. «Но где же я, Люда?» — мелькнуло у меня в мыслях. Неужели эта высокая стриженная девочка в зеленом

камлотовом платье и белом переднике — это я, Люда, маленькая панночка с Влассовского хутора? Да, это — я, тут же со мной бледная княжна Джаваха... А кругом нас цветы, много-много колокольчиков, резеды, левкоя... Колокольчики звенят на весь сад... и звон их пронзительно звучит в накаленном воздухе...

— Вставай же, соня, пора, — раздался над моим ухом веселый окрик знакомого голоса.

Я открыла глаза.

Звонок, будивший институток, заливался неистовым звоном. Туманное, мглистое утро смотрело в окна...

В дортуаре царило большое оживление.

Девочки, перегоняя друг друга, в тех же смешных чепчиках и кофточках, бежали в умывальню. Все разговаривали, смеялись, рассказывали про свои сны, иные повторяли наизусть заданные уроки. Шум стоял такой, что ничего нельзя было разобрать.

Институтский день вступал в свои права.

Глава V. Немецкая дама. Гардеробная

Торопясь и перегоняя друг друга, девочки бежали умываться к целому ряду медных кранов у стены, из которых струилась вода.

— Я тебе заняла кран, — крикнула мне Нина, подбирая на ходу под чепчик свои длинные косы.

В умывальной был невообразимый шум. Маня Иванова приставала к злополучной Ренн, обдавая ее брызгами холодной воды. Ренн, выйдя на этот раз из своей апатии, сердилась и выходила из себя.

Крошка мылась подле меня, и я ее разглядела... Действительно, она не казалась вблизи такой деточкой, какую я нашла ее вчера. Бледное, худенькое личико в массе белокурых волос было сердито и сонно; узкие губы плотно сжаты; глаза, большие и светлые, поминутно загорались какими-то недобрыми огоньками. Крошка мне не нравилась.

— Медамочки, торопитесь! — кричала Маня Иванова и, хохоча, проводила зубной щеткой по оголенным спинам мывшихся под кранами девочек. Нельзя сказать, чтобы от этого получалось приятное ощущение. Но Нину Джаваху она не тронула.

Вообще, как мне показалось, Нина пользовалась исключительным положением между институтками.

Вбежала сонная, заспанная Бельская.

— Пусти, Влассовская, ты после вымоешься, — несколько грубо сказала она мне.

Я покорно уступила было мое место, но Нина, подоспевшая вовремя, накинулась на Бельскую.

— Кран занят мной для Влассовской, а не для тебя, — строго сказала она той и прибавила, обращаясь ко мне: — Нельзя же быть такой тряпкой, Галочка.

Мне было неловко от замечания Нины, сделанного при всех, но в то же время я была бесконечно благодарна милой девочке, взявшей себе в обязанность защищать меня.

К восьми часам мы уже все были готовы и становились в пары, чтобы идти на молитву, когда в дортуар вошла новая для меня классная дама, фрейлейн Генинг, маленькая, полная немка с добродушной физиономией. Она была совершенной противоположностью сухой и чопорной m-lle Арно.

— Ах, новенькая!.. — воскликнула она, и ее добрые глаза засияли лаской. — Komm herg, mein Kind (подойди сюда, дитя мое).

Я подошла, неистово краснея, и молча присела перед фрейлейн.

Но каково же было мое изумление, когда классная дама наклонилась ко мне и неожиданно поцеловала меня... В горле моем что-то защекотало, глаза увлажнились, и я чуть не разрыдалась навзрыд от этой неожиданной ласки.

— Видишь, какая она у нас добрая, — шепнула мне Маня Иванова, заметя впечатление, произведенное на меня наставницей.

Мы сошли в столовую. После молитвы, длившейся около получаса (сюда же входило обязательное чтение двух глав Евангелия), каждая из иноверных воспитанниц прочла молитву на своем языке. Когда читала молитву высокая, белокурая, с водянистыми глазами шведка, я невольно обратила внимание на стоявшую подле меня Нину. Княжна вся вспыхнула от радости и прошептала:

— Она выздоровела, ты знаешь?

— Кто выздоровел? — шепотом же спросила я ее.

— Ирочка... ах! да, ведь ты ничего не знаешь; я тебе расскажу после. Это — моя тайна.

И она стала горячо молиться.

За чаем Нина сидела как на иголках, то и дело поглядывая на дальние столы, где находились старшие воспитанницы и пепиньерки. Она, видимо, волновалась.

— Когда ж ты мне откроешь свою тайну? — допытывалась я.

— В дортуаре... Фрейлейн уйдет, и я тебе все расскажу, Галочка.

До начала уроков оставалось еще полчаса, и мы, поднявшись в класс, занялись диктовкой.

Едва я тщательно вывела обычную немецкую фразу: «Wie schon ist die grune Viese» (как прекрасен зеленый луг), как на пороге появилась девушка-служанка, позвавшая меня в гардеробную.

— Gehe, mein Kind (ступай, дитя мое), — ласково отпустила меня фрейлейн, и я в сопровождении девушки спустилась в нижний этаж, где около столовой, в полутемном коридоре, помещались бельевая и гардеробная, сплошь заставленная шкафами. В последней работало до десяти девушек, одетых, как и моя спутница, в холстинковые полосатые платья и белые передники. На столах были беспорядочно набросаны куски зеленого камлота, старого и нового, а между девушками сновала полная дама, Авдотья Петровна Крынкина, с сантиметром на шее. Это была сама «гардеробша» — как ее называли девушки.

— Вы — новенькая? — недружелюбно поглядывая на меня поверх очков, задала она мне

довольно праздный, по моему мнению, вопрос, так как мое «собственное» коричневое платье наглядно доказывало, что я была новенькая.

Я присела.

Не избалованная вежливым обращением, старуха смягчилась.

Она еще раз посмотрела на меня пристальным взглядом, смерив с головы до ног.

— Я вам дам платье с институтки Раевской, которую выключили весной: новое шить недосуг, — ворчливым голосом сказала она мне и велела раздеться.

— Маша, — обратилась она к пришедшей со мной девушке, — сбегай-ка к кастелянше и спроси у нее белье и платье номер 174, знаешь, — Раевской; им оно будет впору.

Девушка поспешила исполнить поручение.

Через полчаса я была одета с головы до ног во все казенное, а мое «собственное» платье и белье, тщательно сложенное девушкой-служанкой, поступило на хранение в гардероб, на полку, за номером 174.

— Запомните этот номер, — резко сказала Авдотья Петровна, — теперь это будет ваш номер все время, пока вы в институте.

Едва я успела одеться, как пришел парикмахер с невыразимо душистыми руками и остриг мои иссиня-черные кудри, так горячо любимые мамой. Когда я подошла к висевшему в простенке гардеробной зеркалу, я не узнала себя.

В зеленом камлотовом платье с белым передником, в такой же пелеринке и «манжах», с коротко остриженными кудрями, я совсем не походила на Люду Влассовскую — маленькую «панночку» с далекого хутора.

«Вряд ли мама узнает меня», — мелькнуло в моей стриженной голове, и, подняв с пола иссиня-черный локон, я бережно завернула его в бумажку, чтобы послать маме с первыми же письмами.

— Совсем на мальчика стали похожи, — сказала Маша, разглядывая мою потешную маленькую фигурку.

Я вздохнула и пошла в класс.

Глава VI. Сад. Тайна Нины. Ирочка Трахтенберг

Едва я переступила порог, как в классе поднялся шум и гам. Девочки, шумя и хохоча, окружили меня, пользуясь переменной между двух уроков.

— Ну, Галочка, ты совсем мальчишка, — заявила серьезно Нина, — но знаешь, ты мне так больше нравишься, — кудри тебя портили.

— Стрижка-ерыжка! — крикнула Бельская.

— Молчи, егоза, — заступилась за меня Маня Иванова, относившаяся ко мне с большой симпатией.

Следующие два урока были рисование и немецкий язык. Учитель рисования роздал нам карточки с изображением ушей, носов, губ. Нина показала мне, что надо делать, как надо срисовывать. Учитель — добродушнейшее, седенькое существо — после первой же моей черточки нашел меня очень слабой художницей и переменял карточку на менее сложный рисунок.

В то время как я, углубившись в работу, выводила палочки и углы, ко мне на пюпитр упала бумажка, сложенная вчетверо. Я недоумевающе развернула ее и прочла:

«Душка Влассовская! У тебя есть коржики и смоквы. Поделись после завтрака.

Маня Иванова».

— От кого это? — любопытствовала княжна.

— Вот прочти, — и я протянула ей бумажку.

— Иванова ужасная подлиза, хуже Бельской, — сердито заметила княжна, — она узнала, что у тебя гостинцы, и будет нянчиться с тобой. Советую не давать... А то как хочешь... Пожалуй, еще прослынешь жадной. Лучше уж дай.

Я повернула голову и, увидя Иванову, сидевшую возле Ренн на последней скамейке, кивнула ей в знак согласия. Та просияла и усиленно закивала головой.

Презрительная гримаска тронула строгие губы моей соседки. Гордое бескорыстие княжны нравилось мне все больше и больше.

— Нина, а твоя тайна? — напомнила я ей.

— Подожди немного, на гулянье, а то здесь услышат.

Я сгорала от нетерпения, однако не настаивала.

Урок рисования сменился уроком немецкого языка.

Насколько учитель-француз был «душка», настолько немец — «аспид». Класс дрожал на его уроке. Он вызывал воспитанниц резким, крикливым голосом, прослушивал заданное, поминутно сбивая и прерывая замечаниями, и милосердно сыпал единицами. Класс вздохнул свободно, заслыша желанный звонок.

После завтрака, состоявшего из пяти печеных картофелин, куска селедки, квадратика масла и кружки кофе с бутербродами, нам роздали безобразные манто коричневого цвета, называемые клеками, с лиловыми шарфами и повели в сад. Большой, неприветливый, с массой дорожек, он был окружен со всех сторон высокой каменной оградой. Посреди площадки, прилегавшей к внутреннему фасаду института, стояли качели и качалка.

Едва мы сошли со ступеней крыльца, как пары разбились и воспитанницы разбрелись по всему саду.

— Фрейлейн в свое дежурство позволяет ходить на последнюю аллею, — почему-то шепотом сообщила Нина, — пойдем, Галочка.

Я последовала за ней на самую дальнюю дорожку, где нам попадались редкие пары гуляющих. Под нашими ногами шелестели упавшие листья... Там и сям каркали голодные вороны.

Мы сели на влажную от дождя скамейку, и Нина начала:

— Видишь ли, Галочка, у нас ученицы младших классов называются «младшими», а те, которые в последних классах, — это «старшие». Мы, младшие, «обожаем» старших. Это уже так принято у нас в институте. Каждая из младших выбирает себе «душку», подходит к ней здороваться по утрам, гуляет по праздникам с ней в зале, угощает конфетами и знакомит со своими родными во время приема, когда допускают родных на свидание. Вензель «душки» вырезывается перочинным ножом на «тируаре» (пюпитре), а некоторые выцарапывают его булавкой на руке или пишут чернилами ее номер, потому что каждая из нас в институте записана под известным номером. А иногда имя «душки» пишется на стенах и окнах... Для «душки», чтобы быть достойной ходить с ней, нужно сделать что-нибудь особенное, совершить, например, какой-нибудь подвиг: или сбегать ночью на церковную паперть, или съесть большой кусок мела, — да мало ли чем можно проявить свою стойкость и смелость. Я никогда не обожала еще, Галочка, я была слишком горда, но недавно-недавно... — тут вдруг прервала она: — Побожись мне три раза, что ты никому не выдашь мою тайну.

— Изволь, — и я исполнила ее желание.

— Видишь ли, — продолжала Нина оживленно, — незадолго до твоего поступления к нам я была больна лихорадкой и сильно кашляла. Пока я лежала в жару, в мое отделение привели еще одну больную, старшую, Ирочку Трахтенберг. Она так ласково обращалась со мной, ничем не давая мне понять, что я младшая, «седьмушка», а она первоклассница. Мы вместе поджаривали хлеб в лазаретной печке, целые ночи болтали о доме. Ирочка — шведка, но ее родители живут теперь здесь, в Петербурге; она непременно хочет познакомить меня с ними. Ее отец, кажется, консул или просто член посольства — не знаю, только что-то очень важное. Ирочка почему-то молчит, когда я ее об этом спрашиваю. У них под Стокгольмом большой замок. Ах, Галочка, какая она милочка, дуся! Какие у нее глаза, синие, синие... и волосы, как лен! Впрочем, ты сама сейчас увидишь. Только ты никому, никому не говори, Галочка, о моем обожании, а то Бельская и Крошка поднимут меня на смех. А я этого не позволю: княжна Джаваха не должна унижать себя.

Последние слова Нина произнесла с гордым достоинством, делавшим особенно милым ее красивое личико.

— Теперь ты увидишь «душку»!.. — таинственно сообщила она мне.

В последнюю аллею стали приходить старшие, в таких же безобразных клеках, как и наши, но на их тщательно причесанных головках были накинуты вместо полинялых лиловых косынок «собственные» шелковые шарфы разных цветов.

Они разгуливали чинно и важно и разговаривали шепотом.

— Смотри, вот она, — и Нина до боли сжала мне руку.

В конце аллеи появились две институтки в возрасте от 16 до 18 лет каждая. Одна из них темная и смуглая девушка с нечистым цветом лица, другая — светлая льняная блондинка.

— Вот она, Ирочка, — волнуясь, шептала княжна, указывая на блондинку, — с ней Анюта Михайлова, ее подруга.

Девушки поравнялись с нами, и я заметила надменно вздернутую верхнюю губку и бесцветные, водянистые глаза на прозрачно-хрупком, некрасивом личике.

— Это и есть твоя Ирочка? — спросила я.

— Да, — чуть слышно, взволнованным голосом ответила княжна.

«Душка» Нины мне не понравилась. В ее лице и фигуре было что-то отталкивающее. А она, моя милая княжна, вся вспыхнув от удовольствия, подошла поцеловать Ирочку, ничуть не стесняясь ее подруги, очевидно, посвященной в тайну... Белокурая шведка совершенно равнодушно ответила на приветствие княжны.

— Ты ее очень любишь? — спросила я Нину, когда молодые девушки были далеко от нас.

— Ужасно, Галочка! Я ее люблю первой после папы!.. За нее я готова претерпеть все гонения «синявок»... Я ее буду обожать до самого выпуска.

Все это было сказано так восторженно-пылко, что у меня на душе, где-то далеко-далеко, зашевелилось незнакомое мне до сих пор чувство ревности. Я ревновала мою милую, славную подружку к «белобрысой» шведке, как я уже мысленно окрестила Ирочку Трахтенберг.

Глава VII. Суббота. В церкви. Письмо

Прошло шесть дней с тех пор, как стены института гостеприимно приняли меня. Наступила суббота, так страстно ожидаемая всеми институтками, большими и маленькими. С утра субботы уже пахло предстоявшим праздничным днем. Субботний обед был из ряда вон плох, что нимало не огорчало институток: в воображении мелькали завтрашние пирожные, карамели, пастилки, которые приносились «в прием» добрыми родными. Надежда на приятное «немецкое» дежурство в воскресенье тоже немало способствовала общему оживлению. М-лле Арно, Пугач, как ее называли институтки, была дружно презираема ими; за то милая, добрая Булочка, или Кис-Кис, — фрейлейн Генинг — возбуждала общую симпатию своим ласковым отношением к нам.

В половине шестого нас отвели наверх в дортуар и приказали переодеться перед всенощной в чистые передники.

За последние шесть дней я не жила, а точно неслась куда-то, подгоняемая все новыми и новыми впечатлениями. Моя дружба с Ниной делалась все теснее и неразрывнее с каждым днем. Странная и чудная девочка была эта маленькая княжна! Она ни разу не приласкала меня, ни разу даже не назвала Людой, но в ее милых глазках, обращенных ко мне, я видела такую заботливую ласку, такую теплую привязанность, что моя жизнь в чужих, мрачных институтских стенах становилась как бы сноснее.

В тот день мы решили после «спуска газа», то есть после того как погасят огонь, поболтать о «доме». Нина плохо себя чувствовала последние два дня; ненастная петербургская осень отразилась на хрупком организме южанки. Миндалевидные черные глазки Нины лихорадочно загорались и тухли поминутно, синие жилки бились под прозрачно-матовой кожей нежного виска. Сердитый Пугач не раз заботливо предлагал княжне «отдохнуть» день-другой в лазарете.

— Ни за что! — говорила она мне своим милым гортанным голоском. — Пока ты не привыкнешь, Галочка, я тебя не оставлю.

Мне хотелось в эти минуты броситься на шею моей добровольной покровительнице, но Нина не терпела «лизанья», и я сдерживалась.

Суббота улыбалась нам обеим. Мы еще за три дня решили посвятить время после церкви на писание писем домой.

Ровно в шесть часов особенный, тихий и звучный продолжительный звонок заставил нас быстро выстроиться в пары и по нашей «парадной» лестнице подняться в четвертый этаж.

На церковной площадке весь класс остановился и, как один человек, ровно и дружно опустился на колени. Потом, под предводительством m-lle Арно, все чинно по парам вошли в церковь и встали впереди, у самого клироса, с левой стороны. За нами было место следующего, шестого класса.

Небольшая, но красивая и богатая институтская церковь сияла золоченым иконостасом, большими образами в золотых ризах, украшенных камнями, с пеленами, вышитыми воспитанницами. Оба клироса пока еще пустовали. Певчие воспитанницы приходили последними. Я рассматривала и сравнивала эту богатую по убранству церковь с нашим бедным, незатейливым деревенским храмом, куда каждый праздник мы ездили с мамой... Воспоминания разом нахлынули на меня...

Вот славный весенний полдень... В нашей церкви служба по случаю праздника Св. Троицы. На коврик с правой стороны, подле стула, склонилась милая головка мамы... Она, в своем сереньком простом оческовом «параде», с большим букетом белой сирени в руках, казалась мне такой нарядной, молодой и красивой. Рядом Вася, в новой красной канаусовой рубашечке и бархатных штанишках на выпуск, с нетерпением ожидал причастия... Я, Люда, в скромном и изящном белом платице маминой работы, с тщательно расчесанными кудрями... Невдалеке Гапка, обильно намаженная коровьим маслом, в ярком розовом ситце... Сзади нас старушка няня, кряхтя и вздыхая, отбивает поклоны... А в открытые окна просятся развесистые яблони, словно невесты, разукрашенные белыми цветами... Тонкий и острый аромат черемухи наполняет церковь...

Наш деревенский старичок священник — мой духовник и законоучитель, — еле внятно произносивший шамкающим ртом молитвы, и несложный причт, состоящий из сторожа, дьячка и двух семинаристов в летнее время, племянников отца Василия, тянущих в нос, — все это резко отличалось от пышной обстановки институтского храма.

Здесь, в институте, не то... Пожилой, невысокий священник с кротким и болезненным лицом — кумир целого института за чисто отеческое отношение к девочкам — служит особенно выразительно и торжественно. Сочные молодые голоса «старших» звучат красиво и стройно под высокими сводами церкви.

Но странное дело... Там, в убогой деревенской церкви, забившись в темный уголок, я молилась горячо, забывая весь окружающий мир... Здесь, в красивом институтском храме, молитва стыла, как говорится, на губах, и вся я замирала от этих дивных, как казалось мне тогда, голосов, этой величавой торжественной службы...

Около меня все та же неизменная Нина, подняв на ближайший образ Спаса свои черные глазки, горячо молилась...

Я невольно поддаюсь ее примеру, и вдруг меня самое внезапно охватило то давно мне знакомое религиозное чувство, от которого глаза мои наполнились слезами, а сердце билось усиленным темпом.

Я очнулась, когда соседка слева, Надя Федорова, толкнула меня под локоть.

Мы с Ниной поднялись с колен и посмотрели друг на друга сияющими сквозь радостные слезы глазами.

— О чем ты молилась, Галочка? — спросила она меня, осветленное личико ее улыбалось.

— Я, право, не знаю, как-то вдруг меня захватило и понесло, — смущенно ответила я.

— Да и меня тоже...

И мы тут же неожиданно крепко поцеловались. Это был первый поцелуй со времени нашего знакомства...

Придя в класс, усталые девочки расположились на своих скамейках.

Я вынула бумагу и конверт из «тируара» и стала писать маме. Торопливые, неровные строки говорили о моей новой жизни, институте, подругах, о Нине. Потом маленькое сердечко Люды не вытерпело, и я вылилась в этом письме на дальнюю родину вся без изъятия, такая, как я была, — порывистая, горячая и податливая на ласку... Я осыпала мою маму самыми нежными названиями, на которые так щедра наша чудная Украина: «серденько мое», «ясочка», «гарная мамуся» писала я и обливала мое письмо слезами умиления. Испещрив четыре страницы неровным детским почерком, я раньше, нежели запечатать письмо, понесла его, как это требовалось институтскими уставами, m-lle Арно, торжественно восседавшей на кафедре. Пока классная дама пробегала вооруженными пенсне глазами мои самым сердцем диктованные строки, я замирала от ожидания — увидеть ее прослезившуюся и растроганную, но каково же было мое изумление, когда «синявка», окончив письмо, бросила его небрежным движением на середину кафедры со словами:

— И вы думаете, что вашей мама доставит удовольствие читать эти безграмотные каракули? Я подчеркну вам синим карандашом ошибки, постарайтесь их запомнить. И потом, что за нелепые названия даете вы вашей маме?.. Непочтительно и неделикатно. Душа моя, вы напишете другое письмо и принесете мне.

Это была первая глубокая обида, нанесенная детскому сердечному порыву... Я еле сдержалась от подступивших к горлу рыданий и пошла на место.

Нина, слышавшая все происшедшее, вся изменилась в лице.

— Злюка! — коротко и резко бросила она почти вслух, указывая взглядом на m-lle Арно.

Я замерла от страха за свою подругу. Но та, нисколько не смущаясь, продолжала:

— Ты не горюй, Галочка, напиши другое письмо и отдай ей... — и совсем тихо добавила: — А это мы все-таки пошлем завтра... К Ирочке придут родные, и они опустят письмо. Я всегда так делала. Не говори только нашим, а то Крошка наябедничает Пугачу.

Я повеселела и, приписав, по совету княжны, на прежнем письме о случившемся только что эпизоде, написала новое, почтительное и холодное только, которое было благосклонно принято m-lle Арно.

Глава VIII. Прием. Силюльки. Черная монахиня

Утро воскресенья было солнечное и ясное. Открыв заспанные глаза и увидя приветливое солнышко, я невольно вспомнила другое такое утро, когда, глубоко потрясенная предстоящей

разлукой, я садилась в деревенскую линейку между мамой и Васей...

Сладко потягиваясь, стала я одеваться. Некоторые из девочек встали «до звонка», будившего нас в воскресные и праздничные дни на полчаса позже.

Крошка и Маня Иванова — две неразлучные подруги — чинно прохаживались по «среднему» переулку, то есть по пространству между двумя рядами кроватей, и о чем-то шептались.

Обе девочки туго заплели волосы на ночь в мелкие косички и в чистых передниках, тщательно причесанные, выглядели очень празднично. Подле меня, широко раскинувшись на постели, безмятежно спала моя Нина.

— Сегодня у нас чай с розанчиками, — неожиданно выкрикнул чей-то звонкий голосок, разбудивший княжну.

— Влассовская, завяжи мне, душка, «оттажки», — говорила, подходя к моей постели, Таня Петровская, рябая, курносенькая брюнетка, удивительно, до смешного похожая на Гапку.

Я завязала ей передник красивым бантом и, полюбовавшись несколько секунд своим произведением, принялась натягивать на ноги грубые нитяные казенные чулки.

Фрейлейн Генинг, Булочка или Кис-Кис, как ее прозвали институтки, вышла из своей комнаты, помещавшейся на другом конце коридора, около девяти часов и, не дожидаясь звонка, повела нас, уже совсем готовых, на молитву. Дежурная пепиньерка Корсак, миниатюрная блондинка — «душка» Мани Ивановой, — особенно затянулась в свое серое форменное платье и казалась почти воздушной.

— Увидишь, ее выведут сегодня из церкви, — говорила Нина, с нескрываемым удивлением оглядывая осиную талию Корсак, — ее каждый раз выводят.

Слова Нины оправдались. Леночка Корсак не дотянула и половины службы: ей сделалось дурно. Ее едва успела подхватить стоявшая у стула Кис-Кис и при помощи другой классной дамы вывела из церкви.

Обедня прошла с еще большей торжественностью, нежели всенощная.

В 12 часов мы уже шли завтракать. Воскресный завтрак состоял из кулебяки с рисом и грибами. На второе дали чай с вкусными слоеными булочками.

Тотчас после завтрака, когда мы не успели еще подняться в класс, раздался звонок, возвещающий о приеме родных.

На лестницу уже поднимались желанные посетители с разными тюричками и корзиночками для своих любимиц.

— Знаешь, — оживленно шептала Миля Корбина своей «паре» Даше Муравьевой, — сегодня тетя обещала мне принести в муфте пузырек горячего кофе.

— Смотри, как бы не поймали, — озабоченно шепнула серьезная не по летам Даша, или Додо, как ее прозвали институтки.

— Дежурные в приеме, в зал, — раздался голос оправившейся после обморока Корсак.

Несколько девочек, и в том числе княжна, вышли на середину класса. Это были наши

«сливки», то есть лучшие по поведению и учению институтки.

— М-лле Корсак, позвольте мне вам сказать по секрету, — робко произнес гортанный голосок Нины.

— Говори, малютка, — и Корсак, любившая покровительствовать маленьким, обняла Нину и отошла с ней к сторонке.

— Мне хочется уступить мою очередь кому-нибудь, — просящим шепотом говорила княжна.

При всем моем желании услышать, что говорила Нина, я не могла, только видела, как глаза ее поблескивали да бледные щечки вспыхивали румянцем.

Корсак улыbnулась, погладила княжну по головке и перевела глаза на меня.

— Влассовская, — сказала она, — Джаваха передает свою очередь дежурства в приеме из-за вас. Если бы вы были назначены с ней, она не лишила бы себя этого удовольствия. Вы только что поступили, но я попрошу фрейлейн Генинг назначить и вас дежурить в приеме. Одна ваша дружба с Ниной говорит уже за вас.

И, поцеловав княжну, симпатичная девушка пошла просить за нас классную даму.

Кис-Кис, разумеется, согласилась, и мы, веселые, торжествующие, побежали в приемный зал.

— Право, она прелезая, эта Леночка Корсак, — говорила по дороге Нина, — и я жалею, что смеялась над ней. Знаешь, Галочка, мне кажется, что она вовсе не затягивается.

— Спасибо, — горячо поблагодарила я мою добрую подружку.

— Э, полно, — отмахнулась она, — нам с тобой доставит удовольствие порадовать других... Если б ты знала, Галочка, как приятно прибежать в класс и вызвать к родным ту или другую девочку!.. В такие минуты я всегда так живо-живо вспоминаю папу. Что было бы со мной, если бы меня вдруг позвали к нему! Но постой, вот идет старушка, это мама Нади Федоровой, беги назад и вызови Надю.

Я помчалась исполнять данное мне Ниной поручение. Когда я вернулась в зал, меня поразило шумливое жужжанье говора, по крайней мере, двух сотен голосов. Княжна подвинулась и дала мне место на скамейке у дверей, между собой и Дашей Муравьевой.

— Ты тоже дежуришь, привыкай, — со своим чуть заметным немецким акцентом шепнула мне фрейлейн Генинг и углубилась в вязание трехаршинного шарфа.

Невдалеке от нас сидела Маня Иванова со своим маленьким гимназистиком-братом. Она разделила принесенное им сестренке большое яблоко на две половины, и оба, смеясь и болтая, уплетали его. Еще дальше вялая Ренн, сидя между матерью и старшей сестрой, упорно молчала, поглядывая на чужие семьи, счастливые кратким свиданьем.

— Смотри, это к Ирочке, — воскликнула, вся вспыхнув, моя соседка, и, прежде чем я успела сказать что-либо, Ниночка приседала перед высоким седым господином почтенного и важного вида.

— Мадмуазель Трахтенберг сейчас выйдет, — произнесла она и бросилась звать свою «душку».

Постоянные посетители приема, увидя незнакомую девочку между всегдашними дежурными,

спрашивали фрейлейн — новенькая ли я. Получив утвердительный ответ, они сочувственно-ласково улыбались мне.

Побежав вызывать кого-то из наших, я столкнулась в дверях 5-го «проходного» класса с княжной.

— Я отдала Ирочке твое письмо, будь покойна, оно будет сегодня же опущено в почтовый ящик... — шепнула она мне, вся сияющая, счастливая.

Снова бежала я в класс и снова возвращалась. Прием подходил к концу. Я с невольной завистью смотрела на разгоревшиеся от радостного волнения юные личики и на не менее довольные лица родных. «Если б сюда да мою маму, мою голубушку», — подумала я, и сердце мое замерло. А тут еще совсем близко от меня Миля Корбина, нежно прильнув к своей маме белокурой головенкой, что-то скоро-скоро и взволнованно ей рассказывает. И ее мама, такая добрая и ласковая, вроде моей, внимательно слушает свою девочку, тщательно и любовно приглаживая рукой ее белокурые косички...

Мне стало больно-больно.

«Больше полугода без тебя, моя дорогая мамуся», — горько подумала я и сделала усилие, чтоб не разрыдаться.

Прием кончился... Тот же звонок прекратил два быстро промелькнувшие часа свидания... Зашумели отодвинутые скамейки. Родители торопливо целовали и крестили своих девочек, и, наконец, зала опустела.

— Миля, давай меняться, апельсин за пять карамелек! — кричит Маня Игнатьева Миле Корбиной.

— Хорошо, — кивает та.

— Федорова, тебе принесли чайной колбасы, дай кусочек, душка, — откуда-то из-за шкапа раздается голос Бельской, на что Надя, податливая и тихенькая, соглашается без колебаний.

Мы идем в столовую.

Еще в нижнем коридоре передается отрадная новость: «Mesdam'очки, на третье сегодня подадут кондитерское пирожное».

Обед прошел с необычайным оживлением. Те, у которых были родные в приеме, отдавали сладкое девочкам, не посещаемым родителями или родными.

После молитвы, сначала прочитанной, а затем пропетой старшими, мы поднялись в классы, куда швейцар Петр принес целый поднос корзин, коробок и мешочков разных величин, оставленных внизу посетителями. Началось угощение, раздача сластей подругам, даже мена. Мы с Ниной удалились в угол за черную классную доску, чтобы поболтать на свободе. Но девочки отыскивали нас и завалили лакомствами. Общая любимица Нина, гордая и самолюбивая, долго отказывалась, но, не желая обидеть подруг, приняла их лепту.

Надя Федорова принесла мне большой кусок чайной колбасы и, когда я стала отнекиваться, пресерьезно заметила:

— Ешь, ешь или спрячь, ведь я же не отказывалась от твоих коржиков.

И я, чтобы не обидеть ее, ела колбасу после пирожных и карамелей.

Наконец с гостинцами было покончено. Полуопустошенные корзины и коробки поставили в шкаф, который тут же заперла на ключ дежурная; пустые побросали в особый ящик, приютившийся между пианино и шкапом, и девочки, наполнив карманы лакомствами, поспешили в залу, где уже играли и танцевали другие классы.

Институтки старших классов, окруженные со всех сторон маленькими, прохаживались по зале.

Ирочка Трахтенберг, все с той же неизменной Михайловой, сидели на одной из скамеек у портрета императора Павла.

— Княжна, пойдите-ка сюда, — кликнула Михайлова Нину.

Но моя гордая подруга сделала вид, что не слышит, и увлекла меня из залы на маленькую лесенку, где были устроены комнатки для музыкальных упражнений, называемые «силюльками».

— Если б меня позвала Ирочка, я бы, конечно, пошла, — оправдывалась Нина, когда мы остались одни в крохотной комнатке с роялем и табуретом, единственной в ней мебелью, — но эта противная Михайлова такая насмешница!

И снова полилась горячая дружеская беседа. Из залы доносились звуки рояля, веселый смех резвившихся институток, но мы были далеки от всего этого. Тесно усевшись на круглом табурете, мы поверяли друг другу наши детские похождения, впечатления, случаи... Начало темнеть, звуки постепенно смолкли. Мы заглянули сквозь круглое окошечко в зал. Он был пуст...

— Пойдем, Галочка, мне страшно, — вдруг шепнула Нина, и ее личико сделалось мертвенно-бледным.

— Что с тобой? — удивилась и вместе встревожилась я.

— Потом, потом, скорее отсюда! Расскажу в дортуаре.

И мы опрометью кинулись вон из силюлек.

В тот же вечер я услышала от Нины, что наш институт когда-то, давно-давно, был монастырем, доказательством чего служили следы могильных плит в последней аллее и силюльки, бывшие, вероятно, келейками монахинь.

— Не раз, — говорила Нина, — прибежали девочки из силюлек все дрожащие и испуганные и говорили, что слышали какие-то странные звуки, стоны. Это, как говорят, плачут души монахинь, не успевших покаяться перед смертью. А раз, это было давно, когда весь институт стоял на молитве в зале, вдруг в силюльках послышался какой-то шум, потом плач и все институтки, как один человек, увидели тень высокой, черной монахини, которая прошла мимо круглого окна в коридорчик верхних силюлек и, спустившись с лестницы, пропала вниз.

— Ай, замолчи, Нина, страшно! — чуть не плача, остановила я княжну. — Неужели ты веришь в это?

— Я? Понятно, верю, — и, подумав немного, она прибавила задумчиво: — Конечно, потому что иногда я сама вижу мою покойную маму...

— Джаваха, дай спать, ты мешаешь своим шептанием, — нарушила тишину дортуара Бельская.

Скоро весь дортуар затих, погруженный в сон.

Мне было невыразимо жутко. Я натягивала одеяло на голову, чтоб ничего не слышать и не видеть, читала до трех раз «Да воскреснет Бог», но все-таки не выдержала и улеглась спать на одну постель с Ниной, где тотчас же, несмотря ни на какие страхи, уснула как убитая.

Глава IX. Вести из дому. Подвиг Нины

Проходили дни и недели со дня моего поступления в институт.

Однажды, когда мы собирались спуститься завтракать, в класс вошел швейцар.

Появление швейцара всегда особенно волновало сердца девочек. Появлялся он единственно с целью вызвать ту или другую воспитанницу в неприемный час к посетившим ее родственникам. Поэтому один вид красной, расшитой галунами ливреи заставлял замирать ожиданием не одну юную душу.

На этот раз он никого не вызвал, а молча подал письмо дежурной даме и исчез так же быстро, как вошел. Кис-Кис вскрыла конверт и, едва пробежав первую страницу мелко исписанного листка, громко позвала меня:

— Влассовская, du hast einen Brief von deiner Mama bekommen (тебе письмо от твоей мамы).

Вся вспыхнув от неожиданной радости, я приняла письмо дрожащими руками.

Письмо было действительно от мамы.

«Деточка ненаглядная! — писала моя дорогая. — Долго не писала тебе, так как Вася был очень болен: бедняжка схватил корь и пролежал две недели в постели. Теперь наш мальчик поправляется. Он так часто вспоминает свою далекую сестренку. Даже в бреду он поминутно кричал: „Люда, Люда, позовите ко мне Люду“.

Очень рада, деточка, что ты начинаешь привыкать к новой жизни... Поблагодари и крепко поцелуй от меня твою милую маленькую княжну за те заботы, которыми она окружила тебя. Бог да воздаст сторицей доброй девочке!

У нас стоит ясная, сухая украинская осень. Теперь заготавливаем к зиме капусту. Пшеницу — увы! — продала не всю, и вряд ли мне придется увидеть тебя до лета, моя ясочка; ты знаешь, что наши средства так скромны.

Тебя крепко-крепко целуют няня и Вася; он просит переслать тебе вот этот цветок настурции, чудом уцелевший на клумбе. Гапка, Ивась, Катря — словом, все-все шлют тебе поклоны. Вчера была у отца Василия; он заочно благословляет тебя и молит Господа за твои успехи.

Пусто в нашем хуторе с твоего отъезда, моя деточка; даже Милка приуныла и долго искала тебя по саду и двору; теперь она не отходит от Васи и все время его болезни пролежала у кровати нашего мальчика.

Ну прости, моя дорогая девочка, радость, счастье мое. Теперь я буду писать чаще. А пока горячо обнимаю мою стриженую головенку и благодарю за присылку милого черного локона. Христос Бог да поможет тебе в твоих занятиях. Не грусти, голубка, сердце мое, ведь о тебе

день и ночь думает твоя

Мама».

Институтки, длинная столовая с бесконечными столами, давно стынувшая котлетка — все было забыто...

Слезы капали на дорогие строки, поднявшие во мне целый рой воспоминаний. Она стояла передо мной как живая, моя милая, чудная мамуня, и грудь моя разрывалась от желания горячо поцеловать дорогой призрак. А между тем вокруг меня шумел и жужжал неугомонный рой институток. Они о чем-то спорили, кричали, перебивая друг друга.

— Все это вздор, mesdam'очки, одни глупые сказки, — важно произнесла Петровская.

— В чем дело? — спросила я сидевшую подле Нину, сразу как бы разбуженная от сладкого сна.

— Видишь ли, хвастаются, что они ничего не боятся, да ведь ложь, трусишки они все. Вот та же Петровская боится выйти в коридор ночью... А Додо утверждает, что видела ночью лунатика.

— Что это такое — «лунатик»? — заинтересовалась я.

— А ты разве не знаешь? — закричала через стол Маруся Запольская, которую прозвали Краснушкой за ее ярко-красного цвета волосы.

— Нет.

— Это болезнь такая. Человек, у которого расстроены нервы, — объясняла с комической важностью Иванова, — вдруг начинает ходить по ночам с закрытыми глазами, взбирается на крыши домов с ловкостью кошки, ходит по карнизам, но избави Бог его назвать в такие минуты по имени: он может умереть от испуга. Вот таких больных и называют лунатиками.

Девочки, обожавшие все таинственное, слушали с жадным вниманием сведущую подругу.

— А ты кого видела, Додо? — набросились они разом на Муравьеву.

— Я, mesdam'очки, — таинственно сообщала Даша, — пошла пить воду под кран вчера ночью и вдруг вижу — в конце коридора, у паперти, идет что-то белое, будто привидение. Ну я, понятно, убежала в дортуар.

— И все ты врешь, душка, — недоверчиво оборвала ее Краснушка. — Верно, у кого-нибудь из старших зубы болели, а ты, на, уж и решила, что это лунатик.

— А-а, — разочарованно протянули девочки, недружелюбно поглядывая на Краснушку, так грубо сорвавшую маску таинственности с интересного случая.

— Ну да, ты ничему не веришь, ты и в черную монахиню не веришь, и в играющие на рояле в семнадцатом номере зеленые руки не веришь, — рассердилась Додо.

— Нет, в монахиню верю и в руки тоже, — призадумалась Краснушка, — а в лунатика не верю... Это чушь.

— Mesdam'очки, — вдруг раздался гортанный голосок до сих пор молчавшей княжны, — хотите, я сегодня же ночью пойду и узнаю, какой такой появился лунатик? — И глазки предприимчивой Нины уже засверкали от одушевления.

— Ты, душка, сумасшедшая! Тебя, такую больнушку, и вдруг пустить на паперть! Да и потом ты у нас ведь из лучших, из «сливок», «парфеток», а не «мовешка» — тебе плохо будет, если тебя поймают.

(«Сливками» или «парфетками» назывались лучшие ученицы, записанные за отличие на красной доске; «мовешки» — худшие по поведению.)

— Ну сотрут с доски — и все! — тряхнула беспечно головкой Нина. — Только ты, Крошка, не насплетничай, — крикнула она сидевшей на противоположном конце стола и внимательно прислушивавшейся к разговору Крошке.

Та презрительно передернула плечиками.

— Я правду говорю, — не унималась княжна, — от кого Арно узнала, что ее Пугачом называют, а? Ты передала. А что Вольской репу в прием принесли, ты тоже съябедничала, — горячилась княжна. — Нет, Маркова, уж ты не оправдывайся лучше — нехорошо.

И Нина отвернулась от нее, не желая замечать, как личико Крошки покрылось пятнами.

— А на паперть караулить лунатика я все-таки пойду, — неожиданно добавила княжна, задорно оглядывая нас своими черными глазами.

— Ниночка, тебя моя мама целует и благодарит, — сказала я, желая отвлечь подругу от неприятного предприятия.

— Спасибо, Галочка, — ласково улыбнулась она и крепко пожала своей тоненькой, но сильной ручкой мои пальцы.

Весь остальной день Нина вела себя как-то странно: то задумается и станет вдруг такая сосредоточенная, а то вдруг зальется громким, долго не смолкающим смехом. За уроком француза Нина особенно ясно и безошибочно перевела небольшой рассказ из хрестоматии, за что получила одобрение преподавателя.

За Ниной вызвали Крошку Маркову. Крошка вспыхнула: она не успела повторить урока, уверенная, что сегодня ее не вызовут, и переводила сбивчиво и бестолково.

Monsieur Ротье недоумевающе приподнял брови. Крошка шла одной из лучших учениц класса, а сегодняшние ее ответы были из рук вон плохи.

— *Qu'avez-vous, petite? Je ne vous reconnais plus* (что с вами? Я не узнаю вас больше)! Вы хорошо учили и зналь ваш урок, *et maintenant* (а сегодня...) *oh*, мне только остается хороший ученица маленькая *princesse et plus personne* (княжна и больше никто).

Monsieur Ротье в исключительные минуты жизни всегда объяснялся по-русски, немилосердно коверкая язык.

Я видела, как краска то отливала, то прилиwała к щекам взбешенной и сконфуженной Крошки.

— Ну, Ниночка, — сказала я моей соседке, — этого она тебе не простит никогда.

Нина только передернула худенькими плечиками и ничего не ответила.

В девять часов, когда фрейлейн, послав свое обычное «*gute Nacht*» лежащим в постелях девочкам, спустила газ и, побродив бесшумно по чуть освещенному дортуару, скрылась из

него, меня охватил страх за Нину, которая еще раз до спуска газа подтвердила свое решение во что бы то ни стало проверить, правду ли говорят о лунатике институтки.

— Ну не ходи, Нина, милая, если не из-за меня, то хоть ради Ирочки, — молила я свою храбрую подружку.

— Нет, Люда, я пойду, ты не проси лучше... ради нее-то, ради Ирочки, я и пойду. Ведь я еще ничего особенного не сделала, чтобы заслужить ее дружбу, вот это и будет моим подвигом. И потом я уже объявила всем, что пойду. А княжна Джаваха не может быть лгуньей.

— Ну в таком случае позволь мне пойти с тобой.

— Ни за что! — пылко воскликнула она. — Иначе мы поссоримся.

И молча одевшись и накинув на плечи большой байковый платок, Нина осторожно выскользнула из дортуара.

Где-то чуть скрипнула дверь, и снова все стихло.

Долго ли, нет ли пролежала я, прислушиваясь к ночным звукам и замирая от страха за свою подружку, но наконец не вытерпела и, быстро накинув на себя грубую холщовую нижнюю юбку и платок, прокралась с величайшей осторожностью мимо спящих в умывальной прислуг в коридор, едва освещенный слабо мерцающими рожками.

Все двери, ведущие в дортуары остальных классов и в комнаты классных дам, расположенные по обе стороны длинного коридора, были плотно заперты. Я миновала его, дрожа от холода и страха, и подошла к высоким, настежь раскрытым стеклянным дверям, ведущим на площадку лестницы перед церковью, называемую папертью, и притаилась в углу коридора за дверью, где, не будучи сама замечена, могла, хотя не без труда, видеть происходящее на паперти. Она была не освещена, и только свет из коридорных рожков, слабо борющийся с окружающей темнотой, позволил мне разглядеть маленькую белую фигурку, прижавшуюся к одной из скамеек.

То была она, моя взбалмошная, смелая Нина!

Она не двигалась... Я еле дышала, боясь быть открытой в моей засаде.

Прошло, вероятно, не менее часа. Мои ноги затекли от сидения на корточках, и я начала уже раскаиваться, что напрасно беспокоилась, — княжне, очевидно, не грозила никакая опасность, — как вдруг легкий шелест привлек мое внимание. Я приподнялась с пола и замерла от ужаса: прямо против меня в противоположных дверях стояла невысокая фигура вся в белом.

Холодный пот выступил у меня на лбу. Я чуть дышала от страха... Княжна между тем встала со своего места и прямо направилась к белому призраку.

Тут я не помню, что произошло со мной. Я, кажется, громко вскрикнула и лишилась чувств.

Глава X. Первая ссора. Триумвират

Очнулась я в дортуаре на моей постели. Около меня склонилось озабоченное знакомое лицо нашей немки.

— Лучше тебе, девочка? — спросила она. — Может быть, не свести ли тебя в лазарет, или

подождем до утра?

В голове моей все путалось... Страшная слабость сковывала члены. Я вся была как разбитая.

— Где Нина? — спросила я классную даму.

— *Sie schlaft bleib'ruhig!* (она спит, будь покойна!) — строго произнесла Кис-Кис и, видя, что я успокоилась, хотела было отойти от моей постели, но я не пустила ее, схвативши за платье.

— Фрейлейн, что же это было? Что это было, ради Бога, скажите? — испуганно вырвалось у меня при внезапном воспоминании о белой фигуре.

— *Dumme Kinder* (глупые дети)! — совсем уже сердито воскликнула редко сердившаяся на нас немка. — Ишь, что выдумали! Просто запоздавшая прислуга торопилась к себе в умывальню, а они — крик, скандал, обморок! *Schande* (стыд)! Тебе простить еще можно, но как это княжна выдумала показывать свою храбрость?.. Стыд, срам, Петрушки этакие! (Петрушки было самое ругательное слово на языке доброй немки.) Если б не я, а кто другой дежурил, ведь вам бы не простилось, вас свели бы к *Мапан*, единицу за поведение поставили бы! — хорохорилась немка.

— Да мы знали, что вы не выдадите, фрейлейн, оттого и решились в ваше дежурство, — попробовала я оправдываться.

— И не мы, а она! — сердито поправила она меня, мотнув головой на княжну, спящую или притворяющуюся спящей. — Это вы мне, значит, за мою снисходительность такой-то сюрприз устраиваете, *danke sehr* (очень благодарна)!

— Простите, фрейлейн.

— Ты что, ты — курица, а вот орленок наш и думать забыл о своем проступке, — смягчившись, произнесла менее ворчливым голосом фрейлейн и вторично взглянула на спавшую княжну.

Лишь только она скрылась, я приподнялась на локте и шепотом спросила:

— Нина, ты спишь?

Ответа не было.

— Ты спишь, Ниночка? — немного громче позвала я.

Новое молчание.

Я посмотрела с минуту на милое личико, казавшееся бледнее от неровного матового света рожков. Потом, зарывшись с головой под одеяло, я заснула крепким и тяжелым сном.

Проснулась я от громкого говора институток. Кто-то кричал, ссорился, спорил. Открыв глаза, я увидела Нину почти одетую, с бледным, нахмуренным лицом и сердитыми, глядящими исподлобья глазками.

— Никогда и ничем я не хвасталась, — холодно и резко говорила она Крошке, старательно заплетавшей свои белокурые косички. — Никогда! Оправдываться ни перед тобой, ни перед классом не буду. Я не струсилась и шла на паперть одна. Больше я ничего не скажу и прошу меня оставить в покое!

— Ниночка, в чем они тебя обвиняют? — встревоженно спросила я моего друга.

— Ах, оставь, пожалуйста, меня в покое. Ты мне только испортила все, все! — с сердцем и горячностью воскликнула она и, круто повернувшись, отошла от кровати.

Я видела ее ожесточенное выражение лица, слышала ее холодный, недружелюбный голос, и сердце мое упало. Как жестоко и несправедливо было ее обвинение!

Я быстро оделась, еле сдерживая накипавшие в груди слезы, и пошла искать Нину. Она стояла у окна в коридоре с тем же сердито-нахмуренным лицом.

— Нина! — подошла я к ней и положила на плечо руку.

— Уйди, не зли меня! Из-за тебя, из-за твоего глупого вмешательства они, эта Маркова и Иванова, издеваются над моей трусостью... Уйди!..

— Ниночка, — растерявшись, произнесла я, — сейчас же пойду и скажу им, что ты ничего не знала, что я сама прокралась за тобой...

— Этого еще не доставало! — вспыхнула она гневом и даже с силой топнула ножкой: — Уйди, пожалуйста, ты ничего умного не придумашь! Ты меня только злишь! Я видеть тебя не хочу!

И она почти с ненавистью взглянула на меня и резко повернулась ко мне спиной.

Все было кончено...

Точно что-то перевернулось у меня в сердце.

Нина, моя милая Нина, мой единственный друг разорвал со мной тесные узы дружбы!..

Опустив голову, молча двинулась я назад в дортуар, чувствуя себя бесконечно одинокой и жалкой.

«Мамочка! — рыдало что-то внутри меня. — За что, за что? Ты не слышишь, родная, свою девочку, не знаешь, как ее обидели! И кто же? Самая близкая, самая любимая душа в этих стенах! Ты бы не обидела, ты не обидела ни разу меня, дорогая, далекая, милая!»

Я точно нарочно растревляла еще сильнее этими причитаниями мою глубоко возмущенную детскую душу, стараясь задеть самые болезненные, самые чувствительные струны ее.

Дойдя до своей постели, я повалилась на нее и, скрыв лицо в подушках, зарыдала горько, неутешно, стараясь заглушить мои рыдания.

Вдруг чья-то маленькая ручка коснулась меня.

«Нина! — мелькнуло в моей голове. — Нина, она раскаялась, она пришла!»

И счастливая от одной этой мысли, я подняла голову и отшатнулась.

Но это была не Нина.

Белокурая Крошка стояла передо мной и улыбалась приветливо и ласково.

Эта улыбка делала чрезвычайно обаятельной ее недоброе, капризное личико.

— Ты поссорилась с Джавахой? — спросила она меня.

— Нет, я не ссорилась, я не понимаю, за что рассердилась Нина и прогнала меня... Мне это очень больно...

— Больно? — И красивое личико Крошки исказилось гримаской. — Ну так пойдешь, проси у нее прощения, может быть, она и простит тебя! — насмешливо проговорила Крошка.

Эти ее слова точно хлестнули меня по душе... Хитрая девочка поняла, чем можно поддеть меня. Во мне заговорило врожденное самолюбие, гордость.

«В самом деле, что за несчастье, если княжна дуется и капризничает? — подумала я. — Чего я плакала, глупенькая, точно я в самом деле виновата? Не хочет со мной дружить, так и Бог с ней!»

И я постаралась улыбнуться.

— Ну вот и отлично, — обрадовалась Крошка, — охота была портить глаза. Глаза-то одни, а подруг много! Да вот, чего откладывать в долгий ящик, хочешь быть со мной подругой?

— Я, право, не знаю... — растерялась я. — Да ты ведь с Маней Ивановой, кажется, дружна?

— Так что же! Это не помешает нисколько; мы будем подругами втроем, будем втроем гулять в перемены: я — в середине, как самая маленькая, ты — справа, Маня — слева, хорошо? Теперь как-то все по трое подруги; это называется в институте «триумвират». Ты увидишь, как будет весело!

Я не знала, что ответить. Крошка была враг Нины, я это отлично знала, но ведь Нина первая изменила своему слову и прогнала меня от себя. А Крошка успокоила, обласкала да еще предлагает свою дружбу!.. Что ж тут думать, о чем?

И не колеблясь ни минуты я протянула ей руку:

— Хорошо, я согласна!

Мы обнялись и поцеловались. Позвали Маню Иванову и с ней поцеловались.

«Триумвират» был заключен.

Раздался звонок, призывающий к молитве и чаю. Сейчас вслед за m-lle Арно, вышедшей из своей комнаты, вошла Джаваха.

Увидя меня между Ивановой и Марковой, она, очевидно, сразу поняла, в чем дело. Краска залила ее бледные щеки, глаза загорелись ярко-ярко.

— Какая гадость — поступать так, — сквозь зубы произнесла она, глядя на меня в упор пронизывающим душу взглядом.

Я невольно опустила глаза. Сердце как-то екнуло... Но минута, другая — и все мое колебание исчезло.

Возвращаться назад было незачем да и неловко перед моими новыми подругами... С прежней дружбой все счеты были кончены...

Началась новая жизнь, новые друзья, новые разговоры, новые тайны.

Крошка и Маня Иванова, в особенности же первая, целиком завладели всем моим существом.

Я невольно поддавала под влияние Марковой, умевшей, несмотря на ее детские годы, подчинять меня своей воле. Что была, в сущности, Крошка, я не могла докопаться никаким образом. Очень неровна, минутами страшно капризная, настойчивая, любившая властвовать и, очень метко подмечая чужие недостатки, издеваться над ними, — она, однако, считалась одной из лучших воспитанниц. Лишь только ей приходилось попасться на глаза классной дамы или учителя, капризное личико принимало почтительно-кроткое выражение и вся она казалась маленьким ангелом. Уходило начальство — и исчезало кроткое ангельское выражение с лица Крошки... Классные дамы, не постигшие всей несимпатичной двойственности маленького существа, любили Крошку, относя ее к числу «парфеток», то есть лучших учениц класса.

Зато подруги единодушно ненавидели Маркову, называя за глаза «фискалкой». Что касается последнего недостатка Крошки, то уличить ее в нем было невозможно. Ее подозревали в том, что она бегаёт жаловаться своей тетке — инспектрисе, но доказать этого никто не решался, и потому Крошка благополучно выносила все из класса, а класс ее ненавидел всеми силами, хотя отчасти и побаивался втайне. Ее дружба с Маней Ивановой заключалась в полном подчинении последней Крошке. Маня была добрая, славная, несколько ленивая девочка, имевшая один страшный недостаток, по мнению институток: она любила поесть. Есть Маня могла во всякое время, не разбирая что и как. Иногда после целой коробки мармеладу, уничтоженной в один присест, она тут же, не передохнув, как говорится, принималась за калач, намазанный маслом и густо посыпанный зеленым сыром. Как-то раз на пари, призом которого был назначен апельсин, Маня Иванова съела восемь штук больших институтских котлет. Второй слабостью Мани было «обожание» Крошки, о которой она отзывалась самыми восторженными похвалами.

— Лидочка — прелесть, — говорила она мне, пережевывая кусок чего-нибудь и вся сияя удовольствием, — они ее не понимают и дуются; да ты вот подружись с нами подольше и тогда сама узнаешь.

А Лидочка неизменно злоупотребляла дружбой Мани. Она командовала ею, заставляла оказывать ей тысячу мелких услуг и, к довершению всего, подняла на подругу целое гонение за то, что Маня «обожала» Леночку Корсак. Несмотря на недостатки Мани, меня тянуло гораздо больше к ней, нежели к лукавой, неискренней Крошке.

Крошка замечала это и всеми силами старалась скрепить наши недавние узы дружбы.

Не знаю цели, заставлявшей Крошку так ухватиться за меня, но думаю, что она руководилась местью к княжне, которую считала своим злейшим врагом. Или просто ей хотелось заручиться преданной душой среди недружелюбно относящегося к ней класса.

С первых же часов моей новой дружбы я поняла, что сделала непростительную ошибку.

Холодная и эгоистичная Крошка, ничего не делавшая с проста, и веселая сладкоежка Маня не могли мне заменить моего потерянного друга. А ссора с Ниной вышла нешуточная. Она сидела на уроках на одной со мной скамейке, ходила в одной паре и спала подле. Но я видела, как это стесняло ее. Всеми силами Нина старалась выказать мне свое полное негодование, почти ненависть. Она отодвигалась от меня на самый кончик скамейки, за обедом она передавала тарелки не через меня, а за моей спиной; она не ходила со мной под руку в паре, как это было принято; приходя в дортуар, она ложилась скоро, скоро и засыпала, еще до спуска газа, как бы боясь разговоров и объяснений с моей стороны.

Так прошло много времени. Я изнывала и не могла найти исхода. Крошка все ловчее и ловчее опутывала меня еле уловимыми сетями своей дружбы, а я, по свойственному моей натуре малодушию и слабости, не могла сбросить с себя этой власти, всем сердцем продолжая любить мою единственную, дорогую Ниночку. Последняя очень изменилась со времени нашей ссоры. Всегда сдержанная и сосредоточенная прежде, любившая тихие, долгие беседы о Кавказе, о доме, она вдруг стала неузнаваемо весела. Целые досуги проводила она в бесцельной визгливой беготне по зале с «мовешками», в рисовании на доске смешных фигурок или пробиралась на половину старших и прогуливалась там с Ирочкой и Михайловой, не боясь «накрытия синявок».

Последние не могли не заметить перемены, происшедшей с примерной воспитанницей, но относили это к болезненным проявлениям слабого организма княжны и смотрели сквозь пальцы на выходки Нины.

К довершению всего, Нина подружилась с Бельской — «разбойником» класса — и была постоянной ее спутницей и соучастницей в проказах.

Маме я ничего не писала о случившемся, инстинктивно чувствуя, ведь это сильно огорчит ее, тем более что она, ничего не подозревая, писала мне длинные письма, уделяя в них по странице на долю «милой девочки», как она называла мою дорогую, взбалмошную, так незаслуженно огорчившую меня княжну...

Глава XI. Невинно пострадавшая

Однажды после завтрака, в большую перемену, гуляя по саду в обществе моих двух новых подруг, я была удивлена необычайным оживлением, господствовавшим на последней аллее. День был сырой, промозглый — одним словом, один из тех осенних дней, на которые так щедр петербургский ноябрь. Мы прибавили шагу, желая поскорее узнать, в чем дело.

Посередине аллеи неуклюже прыгала, громко, беспомощно каркая, большая черная ворона. Правая лапка и часть крыла были у нее в крови. За ней бежало несколько седьмушек с Ниной Джавахой и Бельской во главе.

— Осторожнее, клюнет! — кричала Петровская, всячески удерживая княжну.

Но Нина не обратила внимания на ее слова. Вся красная от волнения и тщетных попыток поймать птицу, она наконец изловчилась и бесстрашно схватила ворону, забившуюся у ножек садовой скамейки.

— Поймала! — сказала она, торжествующе обводя глазами маленькое общество.

— Какая ты храбрая, Ниночка, — заметила Надя Федорова, подобострастно глядя на смелую подругу.

Ворона билась и каркала в руках Нины, но девочка ловко закутала ее в платок, надетый внизу под клеюй, и понесла ее в класс.

— Сохрани Бог, синявки узнают, — замирая, шептала Федорова.

— Нет! Куда им! Бельская, беги за бинтом в лазарет.

К счастью, ворона притихла и ничем не обнаруживала своего присутствия. Ее посадили в корзинку с крышкой, в которой мать Тани Петровской в прошлое воскресенье привезла яблок.

Мигом был принесен бинт из лазарета. Дождавшись, когда дежурный в этот день Пугач вышел из класса, Нина быстро перевязала поломанное крыло вороны, предварительно обмыв его хорошенько. Потом птицу силой накормили оставшейся у кого-то в кармане от чая булкой и усадили в корзину, прикрыв сверху казенным платком.

Следующий урок был батюшкин. Славный был наш добрый институтский батюшка! Чуть ли не святым прослыл он в наших юных понятиях за теплое, чисто отеческое отношение к девочкам.

Рассказывает ли он о страданиях Иова или о бегстве иудеев из Египта, глаза его ласково и любовно останавливаются на каждой из нас по очереди, а рука его гладит склоненную перед ним ту или другую головку...

Батюшка никогда не сидел на кафедре. Перед его уроком к первой скамейке среднего ряда придвигался маленький столик, куда клались учебники, журнал и ставилась чернильница с пером для отметок. Но батюшка и за столом никогда не сидел, а ходил по всему классу, останавливаясь в промежутках между скамейками. Особенно любил он Нину и называл ее «чужестраночкой».

— Я, батюшка, русская, — немного обидчиво говорила она.

— Ну что ж, что русская, а из какой дали к нам прилетела!

И широкий рукав нарядной шелковой рясы совсем прикрывал бледное личико и глянцевитые косы.

Батюшку мы все буквально боготворили. Мы поверяли ему наши детские невзгоды, чистосердечно каялись в содеянных шалостях, просили совета или заступничества и никогда ни в чем не терпели от него отказа. Худых баллов батюшка не ставил. Выйдет ленивая, не знающая урока ученица, вроде Ренн, он ее самыми немудреными и легко понятными вопросами наведет на ответ так, что урок она хотя слабо, а все-таки ответит и получит 11 в классном журнале. Зато не знать урока у батюшки считалось преступлением, за которое «нападал» весь класс без исключения. Да, впрочем, таких случаев, к нашей чести будь сказано, почти не случалось. Девочки-«парфетки» следили за девочками-«мовешками», заботясь, чтобы урок Закона Божьего был выучен. Даже Ренн не имела меньше 11 баллов.

После класса мы все окружали батюшку, который, благословив теснившихся вокруг него девочек, садился на приготовленное ему за столиком место, мы же располагались тесной толпой у его ног на полу и беседовали с ним вплоть до следующего урока.

Всех нас он знал по именам и вызывал на уроках не иначе как прибавив к фамилии ласкательное имя девочки:

— А ну-ка, Манюша Иванова, расскажите о явлении Иеговы праведному Моисею.

И Манюша рассказывала звонко, ясно, толково.

Так было и в этот день, но едва Таня Покровская, особенно религиозная и богобоязненная девочка, окончила трогательную повесть о слепом Товии, как вдруг из корзины, плотно прикрытой зеленым платком, раздалось продолжительное карканье. Весь класс замер от страха. Дежурившая в этот день в классе m-lle Арно вскочила со своего места, как ужаленная, не зная, что предпринять, за что схватиться. Батюшка, недоумевая, оглядывал весь класс своими добрыми, близорукими глазами...

«Кар-кар», — зловеще неслось из угла.

— В классе — ворона, — вдруг произнес, дрожа от злости, Пугач, — это не шалость, а безобразие, и виновная будет строго наказана!

И вся зеленая от негодования она бросилась искать ворону. Но последняя не заставила себя долго ждать: вылезши из корзины, она стала ковылять по полу с громким, пронзительным карканьем.

Классная дама кричала, девочки шикали, чтобы прогнать ворону, суматоха была невообразимая.

Я взглянула на княжну: она была белее своей белой пелеринки.

Между тем раздался звонок, возвещающий окончание урока, и батюшка, поспешно осенив нас общим крестом, вышел из класса.

Мы притихли.

М-лле Арно приказала дежурной воспитаннице позвать коридорную девушку, чтобы убрать «этот ужас», как она назвала ворону, а сама помчалась доносить инспектрисе о случившемся.

Лишь только классная дверь закрылась за ней, как Бельская вскочила на кафедру и громко на весь класс прокричала:

— Mesdam'очки, не выдавайте Нину, слышите! Нам всем ничего не будет, а ее, пожалуй, за эту шалость сотрут с красной доски и выключат из «парфеток».

— Нет, зачем же классу страдать из-за одной? Я непременно сознаюсь, — пробовала запротестовать княжна.

— И думать не смей! — зашумели девочки со всех сторон. — Мы все хотели взять ворону... все... только боялись ее клюва, а ты бесстрашная... Всему классу это сойдет, а тебе нет.

Между тем коридорная девушка ловила виновницу случая — ворону, но никак не могла поймать.

— Ну-с, так решено: Нины не выдавать и у батюшки просить всем классом прощения, что это случилось на его уроке, — проповедовала Бельская.

— Ты, Феня, не выбрасывай ее на двор, — просила Джаваха коридорную девушку, одолевшую наконец злополучную ворону, — ворона ведь больная.

— А куда ж я с ней денусь? Еще от начальства влетит, беда будет. Нет, барышня, отнесу-ка я ее в сад на прежнее место... И что за птицу вы облагодетельствовали! Ведь падаль жрет, — у, глазастая! — И Феня потащила нашу протезе из класса, куда в этот миг входила инспектриса.

Мы снова присмирели, предчувствуя грозу.

Худая, длинная как жердь инспектриса производила впечатление старушки, но двигалась она быстро и живо, поспевая всюду.

Тон ее был раздражительный, сухой, придирчивый. Мы ненавидели ее за ее брезгливое пиление.

Худая фигурка в синем шелковом платье с массой медалей у левого плеча грозно предстала поднявшемуся со своих скамеек классу.

— Кто осмелился принести в класс ворону? — резко прозвучал среди восстановившейся мигот тишины ее визгливый голос.

Молчание.

— Кто? — снова повторила инспектриса.

Новое молчание было ответом.

— Что же, у вас языков нет? — еще грознее наступала она. — Я требую, чтобы виновная призналась.

— Мы все, все виноваты, — раздалась одиночные голоса.

— Все! — хором повторил весь класс.

— Трогательное единодушие, — проговорила с недоброй усмешкой инспектриса, — но будьте уверены, я все узнаю, и виновная будет строго наказана.

— Маркова насплетничает, непременно насплетничает, — зашептали девочки, когда инспектриса вышла из класса, а мы стали спускаться с лестницы.

Меня охватил внезапный страх за милую княжну, согласившуюся на защиту и покровительство класса. Я предвидела, что княжне это не пройдет даром.

«Крошка непременно выдаст», — подумала я, и вдруг внезапная мысль осенила меня. Я слишком еще любила княжну, чтобы колебаться.

И, не откладывая в долгий ящик своего решения, я незаметно выскользнула из пар и бегом возвратилась обратно, делая вид, что позабыла что-то в классе.

Там, подождав немного, когда, по моему мнению, «сеньмушки» достигли столовой, я быстро направилась через длинный коридор на половину старших, в так называемый «колбасный переулок», где жила инспектриса. Почему он назывался колбасным, я до сих пор себе не уяснила, да и вряд ли кто из институток мог бы это сделать. Там находились комнаты классных дам, и в том числе комната инспектрисы. Я со страхом остановилась у двери, трижды торопливо прочла: «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!» — как меня учила няня делать в трудные минуты жизни — и постучала в дверь с вопросом: «Puis-je entrer» (могу войти)?

— Entrez (войдите)! — прозвучало в ответ, и я робко вошла.

Комнатка инспектрисы, разделенная пополам невысокой драпировкой темно-малинового цвета, поразила меня своей уютностью. Там стояла очень хорошенькая мебель, лежал персидский ковер, висели на стенах группы институток и портрет начальницы, сделанный поразительно удачно.

Сама m-lle Еленина — так звали инспектрису — сидела за маленьким ломберным столиком, накрытым белой скатертью, и завтракала.

Она подняла на меня свои сердитые, маленькие глазки с вопросительным недоумением.

— Medemoiselle, — начала я дрожащим голосом, — я пришла сказать, что... что... ворону принесла я.

— Ты? — И еще большее недоумение отразилось в ее взоре.

— Да, я, — на этот раз уже ясно и твердо отчеканила я.

— Отчего же ты не созналась сразу, в классе?

Я молчала, мучительно краснея.

— Стыдись! Только что поступила, и уже совершаешь такие непростительные шалости. Зачем ты принесла в класс птицу? — грозно напустилась она на меня.

— Она была такая исщипанная, в крови, мне было жалко, и я принесла.

Боязнь за Нину придала мне храбрости, и я говорила без запинки.

— Ты должна была сказать m-lle Арно или дежурной пепиньерке, ворону бы убрали на задний двор, а не распорядиться самой, да еще прятаться за спиной класса... Скверно, достойно уличного мальчишки, а не благовоспитанной барышни! Ты будешь наказана. Сними свой передник и отправляйся стоять в столовой во время завтрака, — уже совсем строго закончила инспектриса.

Я замерла. Стоять в столовой без передника считалось в институте самым сильным наказанием.

Это было уже слишком. На глазах моих навернулись слезы. « Попрошу прощения, может быть, смягчится », — подумала я.

« Нет, нет, — в ту же минуту молнией мелькнуло в моей голове, — ведь я терплю за Нину и, может быть, этим поступком верну если не дружбу ее, то, по крайней мере, расположение ».

И, стойко удержавшись от слез, я быстро сняла передник, сделала классной даме условный поклон и вышла из комнаты.

Мое появление без передника в столовой произвело переполох.

Младшие повскакали с мест, старшие поворачивали головы, с насмешкой и сожалением поглядывая на меня.

Я храбро подошла к m-lle Арно и заявила ей, что я наказана инспектрисой. Но за что я наказана, я не объяснила. Затем я встала на середину столовой. Мне было невыразимо совестно и в то же время сладко. Лицо мое горело, как в огне. Я не поднимала глаз, боясь снова встретить насмешливые улыбки.

« Если б они знали, если б только знали, за что я терплю эту муку! — вся замирая от сладкого трепета, говорила я себе. — Милая, милая княжна, чувствуешь ли ты, как страдает твоя маленькая Люда? »

Наши « седьмушки », видимо, взволновались. Не зная, за что я наказана, они строили тысячу предположений, догадок и то и дело оборачивались ко мне.

Я подняла голову. Мой взгляд встретился с Ниной. Я не знаю, что выражали мои глаза, но в

черных милых глазках Джавахи светилось столько глубокого сочувствия и нежной ласки, что всю меня точно варом обдало.

«Ты жалеешь меня, милая девочка», — шептала я восторженно, и, стряхнув с себя ложный, как мне казалось, стыд, я подняла голову и окинула всю столовую долгим, торжествующим взглядом.

Но меня не поняли, да и не могли понять эти беспечные, веселые девочки.

— Смотрите-ка, mesdames наказана, да еще и смотрит победоносно, точно подвиг совершила, — заметил кто-то с ближайшего стола пятиклассниц.

В ответ я только равнодушно пожала плечами.

Лицо мое между тем горело все больше и больше и стало красное как кумач. У меня сделался жар — неизменный спутник всех моих потрясений.

М-ше Арно со своего места обратила внимание на мои пылающие щеки, на неестественно ярко разгоревшиеся глаза и, оставив свое место, подошла ко мне.

— Тебе нехорошо?

Я отрицательно покачала головой, но она, приложив руку к моей пылающей щеке, воскликнула:

— Но ты больна, ты вся горишь! — и, подхватив меня под руку, поспешно вывела из столовой мимо еще более недоумевающих институток.

Пытка кончилась.

Меня отвели в лазарет.

Глава XII. В лазарете. Примирение

Лазарет начинался тотчас за квартирой начальницы. Это было большое помещение с просторными палатами, полными воздуха и света. Этот свет исходил, казалось, от самих чисто выбеленных стен лазарета. Вход в него был через темный коридорчик, примыкавший к нижнему длинному и мрачному коридору. Первая комната называлась «перевязочная», сюда два раза в день, по лазаретному звонку, собирались «слабенькие», то есть те, которым прописано было принимать железо, мышьяк, кефир и рыбий жир. Заведовали перевязочной две фельдшерицы: одна — кругленькая, беленькая, молодая девушка, Вера Васильевна, прозванная Пышкой, а другая — Мирра Андреевна, или Жучка по прозвищу, раздражительная и взыскательная старая дева. Насколько Пышка была любима институтками, настолько презираема Жучка. В дежурство Пышки девочки пользовались иногда вкусной «шипучкой» (смесь соды с кислотой) или беленькими мятными лепешками...

— Меня тошнит, Вера Васильевна, — говорит какая-нибудь шалунья и прижимает для большей верности платок к губам.

И Пышка открывает шкаф, достает оттуда коробку кислоты и соды и делает шипучку.

— Мне бы мятных лепешек от тошноты, — тянет другая.

— А не хотите ли касторового масла? — добродушно напускается Вера Васильевна и сама смеется.

Пропишет ли доктор кому-либо злополучную касторку в дежурство Веры Васильевны, она дает это противное масло в немного горьковатом портвейне и тем же вином предлагает запить, между тем как в дежурство Жучки касторка давалась в мяте, что составляло страшную неприятность для девочек.

Из перевязочной вели две двери: одна — в комнату лазаретной надзирательницы, а другая — в лазаретную столовую. В столовой стоял длинный стол для выздоравливающих, а по стенам расставлены были шкапы с разными медицинскими препаратами и бельем.

Из столовой шли двери в следующие палаты и маленькую комнату Жучки.

Палат было, не считая маленькой, предназначенной для больных классных дам, еще две больших и третья маленькая для груднобольных. Около последней помещалась Пышка. Затем шли умывальня с кранами и ванной и кухня, где за перегородкой помещалась Матенька.

Матенька была не совсем обыкновенное существо нашего лазарета. Старая-старенькая ворчунья, нечто вроде сиделки и кастелянши, она, несмотря на свои 78 лет, бодро управляла своим маленьким хозяйством.

— Матенька, — кричит Вера Васильевна, — лихорадочную привели, пожалуйста, дайте липки.

И липка, то есть раствор липового цвета, поспекает в две-три минуты по щучьему велению.

— Матенька, помогите забинтовать больную. — И Матенька забинтовывает быстро и ловко.

И откуда силы брались у этой славной седенькой старушки?!

Ворчлива Матенька была ужасно, но и ворчание ее было добродушное, безвредное: сейчас побранит, сейчас же прояснится улыбкой.

— Матенька, — увивается около нее какая-нибудь больная, — поджарьте булочку, родная.

— Ну вот что выдумала, шалунья, чтобы от Марьи Антоновны попало! Не выдумывайте лучше!

А через полчаса, смотришь, на лазаретном ночном столике, подле кружки с чаем, лежит аппетитно подрумяненная в горячей золе булочка. Придется серьезно заболеть институтке, Матенька ночи напролет просиживает у постели больной, дни не отходит от нее, а случится несчастье, смерть, она и глаза закроет, и обмоет, и псалтырь почитает над усопшей.

Такова была обстановка лазарета, мало, впрочем, меня интересовавшая.

М-lle Арно дорогой старалась проникнуть в мою душу — и узнать, почему я наказана, но я упорно молчала. Настаивать же она не решалась, так как мои пышущие от жара щеки и неестественно блестящие глаза пугали ее.

— Что с девочкой? — спросила Вера Васильевна, когда мы пришли в перевязочную.

И, не теряя ни минуты, она усадила меня на диван и поставила градусник для измерения температуры.

— Mademoiselle Арно, оставьте ее у нас, видите, какая горячая, — посоветовала фельдшерница.

— Ведите себя хорошенько! — холодно бросила мне классная дама и поспешила выйти из перевязочной.

— Вы простудились, да? — допрашивала меня добрая девушка.

— Да... нет... да... право, не знаю! — путалась я.

Действительно, может быть, я простудилась как-нибудь. Я не сознавала, что последние неприятности разрыва с Ниной могли так подействовать на меня.

— У вас повышенная температура, — озабоченно покачала головой Пышка.

— Матенька, — крикнула она, — прикажите постлать постель в средней палате и приготовьте липки.

Поспела постель, поспела и липка. Меня раздели и уложили. Голова моя и тело горели. Обрывки мыслей носились в усталом мозгу.

Точно тяжелый камень надавил сердце.

Едва я забылась, как передо мной замелькали белые хатки, вишневая роща, церковь с высоко горящим крестом и... мама. Я ясно видела, что она склоняется надо мною, обнимает и так любовно шепчет нежным, тихим, грустным голосом: «Людочка, сердце мое, крошка, что с тобой сделали?»

Я открываю глаза, в комнате полумрак. Ноябрьский день уже погас. Около меня кто-то плачет, судорожно, тихо.

Я приподнимаюсь на подушках.

«Мама?» — вдруг мелькает в моей голове безумная мысль.

Нет, не мама.

Надо мной склонилось знакомое бледное личико, все залитое обильными слезами; глянцевитые черные косы упали мне на грудь.

— Княжна! Нина! — каким-то диким, не своим голосом вырвалось из моей груди, и, полузадушенная рыданиями, я широко распахнула объятия.

Мы замерли минуты на две, сжимая друг друга и обливаясь слезами.

— Галочка, моя бедная! — шептала между поцелуями Нина. — Что я с тобой сделала!

И опять слезы, горячие, детские слезы потерянного и вновь обретенного счастья.

— Ах, милая, глупая! Зачем ты... — лепетала Нина. — За меня ведь ты наказана, за меня больна! Какая я злая, скверная! Боже мой! Простишь ли ты меня, Люда?

— Родная! — могла только выговорить я, потрясенная до глубины души.

— Но как же ты узнала? — спросила я, когда прошли первые острые минуты радости.

— Инспектриса пришла в класс и сказала, за что ты наказана... Ну...

— Ну?.. — невольно дрожащим голосом проговорила я.

— Я создалась, и меня стерли с доски и выключили из «парфеток», а тобой все восхищаются... Ты стоишь этого, Людочка; ты такая прелесть, ты ангел! — шептала княжна.

— Но, Ниночка, ведь тебя стерли с доски, — встревожилась я.

— Так что же? А ты что претерпела за меня! Я этого никогда не забуду!

— И княжна горячо поцеловала меня.

— Да, теперь мы будем подругами на всю жизнь! — торжественно произнесла я.

— А как же «триумвират»? — лукаво шепнула княжна.

— А как же Бельская? — не потерялась я.

И обе мы звонко расхохотались.

Княжна прилегла головой ко мне на подушку и, поглаживая мои непокорные стриженные вихры, говорила, как тяжело ей было без меня последнее время.

— Ни есть, ни спать не хотелось.

— Как же ты ко мне пробралась?

— А вот! — И она торжествуя в полутьме подняла свою правую ручку, обвязанную чем-то белым.

— Что это?

— Взяла чинить карандаш, да и обрезала палец перочинным ножом, ну и попала на перевязку, — гордо зазвенел ее гортанный голосок.

В ответ она обняла меня и чуть слышно прошептала:

— А что ты за меня вынесла, Люда!

«Люда!» Как восхитительно звучало мне мое имя в милых губках княжны: не Галочка, а Люда.

— Вы что, шалуньи, притаились, — вдруг прозвучал у нас над ухом знакомый голос Матеньки. — Вы ведь, ваше сиятельство (она всегда так обращалась к княжне), под кран идти изволили ручку смочить, а сами к подруге больной свернули... Не дело... Им покой нужен.

— Матенька, милушка, дайте еще посидеть, — упрашивала Нина.

— Ни-ни, что вы, матушка! А как в классе хватятся? Пойдите, родимая, — ответила старушка.

— Завтра приду, если не выпишешься! — шепнула Нина, целуя меня.

— Выпишусь, — с уверенностью произнесла я, находя себя совсем здоровой.

Она ушла, а я еще чувствовала ее около себя — милую, добрую, великодушную Нину!

В эту ночь я уснула крепким, здоровым сном, унесшим с собою всю мою болезнь.

На другой день к вечеру я уже выписалась из лазарета.

Едва я появилась в классе, девочки устроили мне шумную овацию. Меня обнимали, целовали наперерыв, громко восхваляя за геройский подвиг. Потом всем классом просили инспектрису простить Нину — и на красной доске снова появилось ее милое имя.

Только двое из всего класса не приветствовали меня и бросали на нас с княжной сердитые взгляды. То были мои две прежние подруги, так не долго господствовавшие надо мной. Им обеим — и Крошке и Мане — было крайне неприятно распадение «триумвирата» и мое примирение с их врагом — моей милой Ниной.

Глава XIII. Печальная новость. Подписка

— Mesdam'очки, mesdam'очки, знаете новость, ужасную новость? Сейчас я была внизу и видела Маман, она говорила что-то нашей немке — строго-строго... А Fraulein плакала... Я сама видела, как она вытирала слезы! Ей-Богу...

Все это протрещала Бельская одним духом, ворвавшись ураганом в класс после обеда... В одну секунду мы обступили нашего «разбойника» и еще раз велели передать все ею виденное.

— Это Пугач что-нибудь наговорил на фрейлейн начальнице, наверное, Пугач, — авторитетно заявила Надя Федорова и сделала злые глаза в сторону Крошки: «Поди, мол, сплетничай».

— Да, да, она! Я слышала, как Маман упрекала фрейлейн за снисходительность к нам, я даже помню ее слова: «Вы распустили класс, они стали кадетами...» У-у! противная, — подхватила Краснушка.

— А вдруг фрейлейн уйдет! Тогда Пугач нас доест совсем! Mesdam'очки, что нам делать? — слышались голоса девочек, заранее встревоженных событием.

— Нет, мы не пустим нашу дусю, мы на коленях упросим ее всем классом остаться, — кричала Миля Корбина, восторженная, всегда фантазирующая головка.

— Тише! Кис-Кис идет!

Мы разом стихли. В класс вошла фрейлейн. Действительно, глаза ее были красны и распухли, а лицо тщетно старалось улыбнуться.

Она села на кафедру и, взяв книгу, опустила глаза в страницу, желая, очевидно, скрыть от нас следы недавних слез. Мы тихонько подвинулись к кафедре и окружили ее.

Додо, наша первая ученица и самая безукоризненная по поведению из всего класса, робко произнесла:

— Fraulein!

— Was wollen sie, Kinder (что вам угодно, дети)? — дрожащим голосом спросила нас наша любимица.

— Вы плакали?.. — как нельзя более нежно и осторожно осведомилась Додо.

— Откуда вы взяли, дети?

— Да-да, вы плакали... Дуся наша, кто вас обидел? Скажите! — приставали мы...

Кис-Кис смутилась. Добрые голубые глаза ее подернулись слезами... Губы задрожали от бесхитростных слов преданных девочек.

— Спасибо, милочки. Я всегда была уверена в вашем расположении ко мне и очень, очень горжусь моими детками, — мягко заговорила она, — но успокойтесь, меня никто не обижал...

— А зачем же вы давеча плакали в коридоре, когда разговаривали с Маман? Я все видела! — смело вырвалось у Бельской.

— Ах ты, всезнайка! — сквозь слезы улыбнулась фрейлейн. — Ну, если видела, придется сознаться: я как мне ни грустно, а должна буду расстаться с вами, дети...

— Расстаться? — ахнул весь класс в один голос. — Расстаться навсегда! За что? Разве мы обидели вас, дуся? За что вы бросаете нас? — раздавались здесь и там печальные возгласы «сеньмушек».

Потерять горячо любимую фрейлейн нам казалось чудовищным. Многие из нас уже плакали, прижавшись к плечу подруг, а более сильные духом осаждали кафедру.

— Но, Fraulein, дуся, — говорила Нина, встав за стулом нашей любимицы, — зачем же вы уйдете? Разве мы огорчили вас?

Глаза «Булочки» уже начали разгораться.

— О, нет! Вы были всегда милые, добрые детки, — ласково потрепав по щечке княжну, произнесла она. — Я вас очень, очень люблю и знаю, что вы не огорчите вашу сердитую Fraulein, но другие находят, что я очень слаба с вами и что вы поэтому много шалите.

— Я знаю, кто это сказал... У-у! Это противный Пугач, это Арно! — пылко воскликнула княжна.

— Wie kannst du so sprechen (как ты позволяешь себе так говорить)?! — строго остановила ее фрейлейн и, сильно нахмурясь, добавила: — Вы должны уважать ваших классных дам.

— Мы вас уважаем и очень любим, Fraulein, дуся! — вырвалось, как один голос, из груди 36 девочек.

— Да-да, знаю... я тронута, спасибо вам, ich danke sehr fur ihre Liebe (благодарю вас за вашу любовь), но вы не меня одну должны любить, у вас есть еще другая дама — mademoiselle Арно...

— Мы ее ненавидим! — звонко крикнула Бельская и юркнула за спины подруг.

— Стыдись, Бельская, так отзываться о mademoiselle Арно, твоей наставнице. Она заботится о вас не меньше меня. Она строгая — это правда, но добрая и справедливая, — усовещивала Кис-Кис.

— А за что она Запольскую с доски прошлый месяц стерла? — не унимались девочки. — А почему Ньюшу в прием не пустила? Иванову за что в столовой поставила?..

— Ну, Иванова стоит, — серьезно произнесла Нина, недолюбливавшая Иванову.

— Ну довольно, genug! Что делать, что делать, расстаться нам с вами все-таки придется, — покачала головою добрая фрейлейн.

— Нет-нет, мы вас не пустим, мы знаем, что на вас наябедничали, и Мамап, верно, что-нибудь вам неприятное сказала, а вы и уходите! Да-да, наверное!

Бедная немка не рада была, что допустила этот разговор.

Тихая и кроткая, она не любила историй и теперь раскаивалась в том, что посвятила пылких девочек в тайну своего ухода из института.

А девочки волновались, кричали, окружили фрейлейн, целовали ее по очереди и даже по несколько сразу, так что чуть не задушили, — одним словом, всячески старались выразить искреннюю привязанность своих горячих сердечек.

Растроганная и напуганная этими шумными проявлениями любви, Кис-Кис кое-как уговорила нас успокоиться.

Весь остаток дня мы всеми способами старались развлечь нашу любимицу. Мы не отходили от нее ни на шаг, рано выучили все уроки и безошибочно, за некоторым разве исключением, ответили их дежурной пепиньерке и, наконец, тесно обступив кафедру, старались своими незатейливыми детскими разговорами занять и рассмешить нашу любимую немочку. Краснушка, самая талантливая в подражании, изобразила в лицах, как каждая из нас выходит отвечать уроки, и добилась того, что фрейлейн смеялась вместе с нами.

Придя в дортуар, мы поскорее улеглись в постели, чтобы дать отдых нашей любимице. Газ был спущен раньше обыкновенного, и ничем не нарушимая тишина воцарилась в дортуаре.

Утром держали совет всем классом и после долгих споров решили: 1) изводить всячески Пугача, не боясь наказаний; 2) идти в случае чего к начальнице и просить не отпускать Fraulein; 3) сделать любимой немочке по подписке подарок.

К исполнению последнего решения было приступлено немедленно. Распорядителем-казначеем по покупке подарка выбрали Краснушку, славившуюся у нас знанием счета.

В следующий же прием все посещаемые родными «сеньмушки» выпросили у своих родных денег, кто рубль, кто двадцать — тридцать копеек, каждая сколько могла, и отдали эти деньги Краснушке на хранение.

Краснушка тщательно пересмотрела, пересчитала серебро и уложила в большой ящик от печенья, на крышке которого она старательно вывела самыми красивыми буквами: «Касса».

— А как же я дам денег? Присланные мне мамой десять рублей находятся у Fraulein? — искренно взволновалась я.

— Ты, Людочка, не беспокойся, — ласково проговорила княжна (она уже давно заменила данное мне ею же прозвище ласкательным именем). — У меня еще много своих денег у Пугача. Завтра спрошу себе и тебе.

— А если она спросит, зачем?

— Тогда я прямо скажу, что мы собираем на подарок.

— Ай да молодец, Нина! Ужели так и скажешь? — восторгались наши.

— Так и скажу, ведь я ненавижу Пугача! Воображаю, как она озлится, когда узнает, что мы все

за нашу немку.

И действительно, в французское дежурство Джаваха смело подошла просить из своих денег, отданных на попечение Арно, три рубля.

— Зачем так много? — удивилась та.

— Мы хотим делать по подписке подарок нашей Fraulein. Дайте мне, пожалуйста, mademoiselle, для меня и на долю Влассовской, она отдаст, как только мы купим подарок, а то ведь ее деньги у Fraulein, и она, наверное, не даст ей, узнав, на что мы берем деньги.

— Пустые выдумки! — процедила озлобленно m-lle Арно, однако отказать не решилась и выдала княжне три рубля. Краснушка торжественно присовокупила их к сумме, лежащей уже в кассе.

После вторичного совещания решили купить на собранные деньги альбом, в котором все должны написать что-нибудь самым лучшим почерком на память. «Только из своей головы, а не выученное», — прибавила Додо Муравьева, враг зубрежки. Альбом было поручено купить матери Федоровой, которая охотно исполнила нашу просьбу. В ближайшее же воскресенье Надя Федорова не без труда притащила в класс тяжелый, в папку увязанный сверток. Краснушка влезла на кафедру и, развязав бумаги, торжественно извлекла альбом из папки. Все мы запрыгали от радости.

Это оказалась прелестная, крытая голубым плюшем и с бронзовыми застёжками книга, с золотыми кантами, с разноцветными страницами. В правом углу на бронзовой же доске было четко награвировано: «Незабвенной и дорогой нашей заступнице и наставнице Fraulein Гертруде Генинг от горячо ее любящих девочек». В середине был вензель Кис-Кис. Каждая из нас должна была оставить след на красивых листах альбома, и каждая по очереди брала перо и, подумав немного, нахмурясь и поджав губы или вытянув их забавно трубочкой вперед, писала, тщательно выводя буквы. Краснушка, следившая из-за плеча писавшей, только отрывисто изрекала краткие замечания: «Приложи клякс-папир... тише... не замажь... Не спутай: е, а не е... ах какая!.. Ну вот, кляксу посадила!» — пришла она в неистовство, когда Бельская действительно сделала кляксу.

— Слижи языком, сейчас слижи, — накинулась она на нее.

И Бельская не долго думая слизала.

Лишь только надписи были готовы, Краснушка на весь класс прочла их. Тут большею частью все надписи носили один характер: «Мы вас любим, любите нас и будьте с нами до выпуска», — и при этом прибавление самых нежных и ласковых наименований, на какие только способны замкнутые в четырех стенах наивные, впечатлительные девочки.

Не обошлось, конечно, без стихов.

Петровская, к величайшему удивлению всех, написала в альбом:

Бьется ли сердце, ноет ли грудь,
Скушай конфетку и нас не забудь.

— Ну уж и стихи! — воскликнула Федорова, заливаясь смехом.

— А ты, Нина, тоже напишешь стихи в альбом? — спросила Бельская.

— Нет, — коротко ответила княжна.

Я невольно обратила внимание на надпись Нины.

«Дорогая Fraulein, — гласили каракульки моего друга, — если когда-нибудь вы будете на моем родимом Кавказе, не забудьте, что в доме князя Джавахи вы будете желанной гостьей и что маленькая Нина, доставившая вам столько хлопот, будет рада вам как самому близкому человеку».

— Как ты хорошо написала, Ниночка! — с восторгом воскликнула я и недолго думая, взяв перо, подмахнула под словами княжны:

«Да, да, и в хуторе под Полтавой тоже.

Люда Влассовская».

Когда все уже написали свое «на память», решено было торжественно всем классом нести альбом в комнату Кис-Кис.

— Мы попросим ее остаться, а если она не согласится — пойдем к начальнице и скажем ей, какая чудная, какая милая наша Fraulein, — пылко и возбужденно говорила Федорова.

— Да-да, идем, идем, — подхватили мы и толпою бросились через коридор на лестницу, пользуясь минутным отсутствием Арно.

— Куда? Куда? — спрашивали нас с любопытством старшие.

— «Седьмушки» бунтуют! — кричали нам вдогонку наши соседки — шестые, ужасно важничавшие перед нами своим старшинством.

Никому ничего не отвечая, мы миновали лестницу, церковную паперть и остановились перевести дыхание у комнаты Fraulein.

— Ты, ты говори, — выбрали мы Нину, пользовавшуюся у нас репутацией очень умной и красноречивой.

— Kann man herein (можно войти)? — произнесла княжна, постучав в дверь.

Голос ее дрожал от важности возложенного на нее поручения.

— Herein (войдите)! — раздалось за дверью.

Мы вошли. Fraulein Генинг, донельзя удивленная нашим появлением, встала из-за стола, у которого сидела за письмом. На ней была простая утренняя блуза, а на лбу волосы завиты в папильотки.

— Was wunscht Ihr, Kinder (что вы желаете, дети)?

— Fraulein, дуся, — начала Нина, робея, и выступила вперед, — мы знаем, что вас обидели и вы хотите уйти и оставить нас. Но, Frauleinehen-дуся, мы пришли вам сказать, что «всем классом» пойдем к Маман просить ее не отпускать вас и даем слово «всем классом» не шалить в ваше дежурство. А это, Fraulein, — прибавила она, подавая альбом, — на память о нас... Мы вас так любим!..

Голос княжны оборвался, и мы увидели то, чего никогда еще не видали: Нина плакала.

Тут произошло что-то необычайное. Весь класс всхлипнул и разревелся, как один человек.

— Оставайтесь!.. любим!.. просим!.. — лепетали, всхлипывая, девочки.

Fraulein, испуганная, смущенная и растроганная, с альбомом в руках, не стесняясь нас, плакала навзрыд.

— Девочки вы мои... добренькие... дорогие... Liebchen... Herzchen... — шептала она, целуя и прижимая нас к своей любящей груди. — Ну как вас оставить... милые! А вот зачем деньги тратите на подарки?.. Это напрасно... Не возьму подарка, — вдруг рассердилась она.

Мы обступили ее со всех сторон, стали целовать, просить, даже плакать, с жаром объясняя ей, как это дешево стоило, что Нина, самая богатая, и та дала за себя и за Влассовскую только три рубля, а остальные — совсем понемножку...

— Нет, нет, не возьму, — повторяла Кис-Кис.

С трудом, после долгой просьбы, удалось нам уговорить растроганную Кис-Кис принять наш скромный подарок.

Она перецеловала всех нас и, обещав остаться, отослала скорее в класс, «чтобы не волновать mademoiselle Арно», прибавила она мягко.

— И чтобы это было в последний раз, — заметила еще Кис-Кис, — никаких больше подарков я не приму.

Этот день был одним из лучших в нашей институтской жизни. Мы могли наглядно доказать нашу горячую привязанность обожаемой наставнице, и наши детские сердца были полны шумного ликования.

Уже позднее, через три-четыре года, узнали мы, какую жертву принесла нам Fraulein Генинг. Ее действительно не любили другие наставницы за ее слишком мягкое, сердечное отношение к институткам и не раз жаловались начальнице на некоторые ее упущения из правил строгой дисциплины, и она уже решила оставить службу в институте. Брат ее достал ей прекрасное место компаньонки в богатый аристократический дом, где она получала бы вчетверо больше скромного институтского жалованья и где занятий у нее было бы куда меньше... Уход ее был решен ею бесповоротно. Но вот появилось ее «маленькое стадо» (так она в шутку называла нас), плачущее, молящее остаться, с доказательствами такой неподкупной детской привязанности, которую не купишь ни за какие деньги, что сердце доброй учительницы дрогнуло, и она осталась с нами «доводить до выпуска своих добреньких девочек».

Глава XIV. 14 ноября

Тезоименитство Государыни Императрицы — 14 ноября — праздновалось у нас в институте с особенной пышностью. После обедни и молебна за старшими приезжали кареты от Императорского двора и везли их в театр, а вечером для всех — старших и младших — был бал.

С утра мы поднялись в самом праздничном настроении. На табуретах подле постелей лежали чистые, в несколько складочек праздничные передники, носившие название «батистовых», такие же пелеринки с широкими, жирно крахмаленными бантами и сквозные, тоже батистовые рукавички, или «манжи».

За утренним чаем в этот день никто не дотронулся до казенных булок, предвкушая более интересные блюда. Старшие явились в столовую тоненькие, стянутые в рюмочку, с взбитыми спереди волосами и пышными прическами.

Ирочка Трахтенберг воздвигла на голове какую-то необычайную шишку, пронзенную красивою золотою пикой, только что входившую в моду. Но, к несчастью, Ирочка попала на глаза Елениной, и великолепная шишка с пикой в минуту заменилась скромной прической в виде свернутого жгута.

— Mesdames, у кого я увижу подобные прически — пошлю перечесываться, — сердилась инспектриса.

Богослужение в этот день было особенно торжественно. Кроме институтского начальства были налицо почетные опекуны и попечители. После длинного молебна и зычного троекратного возглашения диаконом «многолетия» всему царствующему дому, мы, раздумянные душею атмосферой церкви, потянулись прикладываться к кресту. Проходя мимо Маман и многочисленных попечителей, мы отвешивали им поясные поклоны (реверансов в церкви не полагалось) и выходили на паперть.

— Ну что, привыкаешь? — раздался над моей почтительно склоненной головой знакомый голос начальницы.

— Oui, Maman, — смущенно прошептала я.

Княгиня-начальница стояла передо мной величественная, красивая, точно картина, в своем синем шелковом платье с массою орденов на груди и бриллиантовым шифром. Она трепала меня по щеке и ласково улыбалась.

— C'est la fille de Wlassovsky, heros de Plevna (дочь Влассовского, героя Плевны), — пояснила она толстому, увешанному орденами, с красной лентой через плечо господину.

— А-а, — протянул тот и тоже потрепал меня по щечке.

Потом я узнала, что это был министр народного просвещения.

За завтраком нам дали вместо кофе по кружке шоколаду с очень вкусными ванильными сухариками. Барышни наскоро позавтракали и, не обращая внимания на начальство, заглянувшее в столовую, побежали приготовляться к выезду в театр.

— Счастливицы, — кричали мы им вслед, — возьмите нас с собою.

Праздничный день тянулся бесконечно... Мы сновали по залу и коридорам, бегали вниз и вверх, раза четыре попадались на глаза злоющей Елениной и никак не могли дожидаться обеда. Более деловитые играли в куклы или «картинки» — своеобразную институтскую игру, состоящую в том, чтобы подбросить картинку, заменяющую институтку, кверху; если картинка упадет лицевой стороной — это считалось хорошим ответом урока, а обратной стороной — ошибка. За ответы ставились баллы в особую тетрадку и затем подводились итоги. Игра эта была любимую у маленьких институток.

Серьезная Додо извлекла из своего стола толстую книгу с изображением индейцев на обложке и погрузилась в чтение.

К обеду вернулись старшие. С шумом и хохотом пришли они в столовую. Их щеки горели от

удовольствия, вынесенного ими из театра. Они не дотронулись даже до обеда, хотя обед с кулебякой и кондитерским пирожным, с тетерькою на второе был самый праздничный.

В пять часов нас повели в дортуар, чтобы мы успели выспаться до предстоящего в этот вечер обычного бала, на котором нам, «сeдьмушкам», было позволено оставаться до 12 часов.

На лестнице нас обогнала Ирочка Трахтенберг с неизменной Михайловой под руку. Она с улыбкой сунула в руки смущенной Нины полученную в театре коробку конфет с вензелем Государыни на крышке.

— Мерсі, — могла только пролепетать сконфуженная Нина и ужасно покраснела.

Спать легли весьма немногие из нас, остальные же, большая половина класса, разместились на кроватях небольшими группами.

Кира Дергунова, «второгодница», то есть оставшаяся на второй год в классе и, следовательно, видевшая все эти приготовления в прошлом году, рассказывала окружившим ее институткам с большим увлечением:

— И вот, mesdam'очки, библиотека будет украшена елками, и там будет гостиная для начальства, а в четвертом классе будет устроен буфет, но чай будут пить только кавалеры. Кроме того, для старших будут конфеты... фрукты...

— А для нас? — не утерпела Маня Иванова, начинавшая глотать слюнки от предстоящего пиршества.

— А нам не дадут... — отрезала Кира. — Нет, то есть дадут, — поспешила она поправиться, — только по яблоку и апельсину да по тюречку конфет...

— А-а, — разочарованно протянула Маня.

— Тебе скучно? — спросила меня Нина, видя, что я лежу с открытыми глазами.

— Да, домой тянет, — призналась я.

— Ну, Люда, потерпим, ведь теперь ноябрь уже в середине, до праздников рукой подать, а второе полугодие так быстро промелькнет, что и не увидишь... Там экзамены, Пасха... и лето...

— Ах, лето! — с восторженным вздохом вырвалось у меня.

— И вот, mesdam'очки, войдет Маман, оркестр заиграет марш... — тем же тягучим, неприятным голосом повествовала Дергунова.

В 7 часов началось необычайное оживление; «сeдьмушки» бежали под кран мыть шею, лицо и чистить ногти и зубы. Это проделывалось с особенным старанием, хотя «сeдьмушкам» не приходилось танцевать — танцевали старшие, а нам разрешалось только смотреть.

В 8 часов к нам вошла фрейлейн, дежурившая в этот день. На ней, поверх василькового форменного платья, была надета кружевная пелеринка, а буколки на лбу были завиты тщательнее прежнего.

— Какая вы красавица, нарядная! — кричали мы, прыгая вокруг нее.

И действительно, ее добродушное, с жилочками на щеках личико, с сиявшей на нем доброй

улыбкой, казалось очень милым.

— Ну-ну, Dummheiten (глупости)! — отмахнулась она и повела нас вниз, где выстроились уже шпалерами по коридору остальные классы.

Внизу было усиленное освещение, пахло каким-то сильным, в нос ударяющим курением.

В половине девятого в конце коридора показалась Маман, в целом обществе опекунов и попечителей, при лентах, орденах и звездах.

— Nous avons l'honneur de vous saluer (имеем честь вас приветствовать)! — дружно приседая классами, восклицали хором институтки.

За начальством прошли кавалеры: ученики лучших учебных заведений столицы, приезжавшие к нам по «наряду». Исключение составляли братья и кузены старших, которые попадали на наши балы по особому приглашению начальницы или какой-нибудь классной дамы.

Под звуки марша мы все вошли в зал и прошлись полонезом, предводительствуемые нашим танцмейстером Троцким, высоким, стройным и грациозным стариком, с тщательно расчесанными бакенбардами. Маман шла впереди, сияя улыбкой, в обществе инспектора — маленького, толстенького человечка в ленте и звезде.

Наконец начальство подошло к небольшому кругу мягкой мебели, подобно оазису уютно расположенному в почти пустой зале, и заняло место среди попечителей и гостей.

Проходя мимо начальства, мы останавливались парами и отвешивали низкий, почтительный реверанс и потом уже занимали предназначенные нам места.

Полонез сменился нежными, замирающими звуками ласкающего вальса. Кавалеры торопливо натягивали перчатки и спешили пригласить «дам» — из числа старших институток. Минута — и десятки пар грациозно закружились в вальсе. Вон белокурая Ирочка несется, тонкая и стройная, согнув немного талию, с длинным, угреватым лицеистом, а вон Михайлова кружится как волчок с каким-то розовым белобрысым пажом.

По окончании условных двух туров (больше двух с одним и тем же кавалером делать не позволялось) институтки приседали, опустив глазки, с тихим, еле уловимым «Merci, monsieur». Отводить на место под руку строго воспрещалось, а еще строже — разговаривать с кавалером, чему плохо, однако, подчинялись старшие.

Я с Ниной и еще несколькими «сечьмушками» уселись под портретом императора Павла, основателя нашего института, и смотрели на танцы, как вдруг передо мной как из-под земли вырос длинный и худой как палка лицеист.

— Mademoiselle, — произнес он шепелявя, — puis-je vous engager pour un tour de valse (могу я вас пригласить на тур вальса)?

Я обомлела и крепко стиснула руку Нины, как бы ища защиты.

— Merci, monsieur, — вся краснея от смущения пролепетала я, — je ne danse pas (я не танцую), — и, встав, отвесила ему почтительный поклон.

Но было уже поздно. Длинный лицеист не понял меня и, быстро обняв мою талию, понесся со мною в вихре вальса.

Лицейст кружился ужасно скоро. Мои ноги не касались пола, и я в воздухе выделяла с изумительной точностью все те па, которым учил нас Троцкий на своих танцклассах.

К счастью моему, музыка прекратилась, и длинный лицейст почти бесчувственную усадил меня на место, с изысканной любезностью прошепелявив: «Merci, mademoiselle».

— Счастливица! Счастливица! Танцевала с большим кавалером, — со всех сторон слышала я завистливые восклицания.

Зал стали проветривать, и весь институт разбежался по коридорам и классам, превращенным в гостиные.

— Пойдем пить! Хочешь? — шепнула Нина, и мы побежали к двум красиво задрапированным бочонкам, один с морсом, другой с оршадом, из которых с невозмутимым хладнокровием институтский вахтер Самойлыч черпал стаканом живительную влагу.

Несмотря на упрощенный способ нашего водочерпия, несмотря на большой палец вахтера, перевязанный тряпкой, пропитанной клюквенным морсом, я жадно выпила поданный мне стакан.

— Ай-ай, пойдем скорее, сюда идет опять этот длинный лицейст! — невольно вскрикнула я, увидя опять знакомого уже мне лицейста, и потащила Нину в сторону.

— Постой, погоди, вон пришел батюшка!

Действительно, в коридоре, окруженный младшими классами, сверкая золотым наперсным крестом на новой лиловой рясе, нам улыбался отец Филимон, пришедший полюбоваться весельем своих «деточек».

Мы с Ниной бросились к нему.

— Что, веселишься, чужестраночка? — ласково улыбнулся и кивнул он своей любимице Нине.

Между тем из зала раздавались звуки контрданса.

— Mesdam'очки, идите гостинцы получать! — кричала Маня Иванова, запихивая в рот целую треть апельсина, данного ей по дороге инспектором.

Мы получили по тюречку кондитерских конфет, по яблоку и апельсину.

— Что же, пойдем в зал? — спросила меня Нина.

— Ай, нет! Ни за что! — в ужасе произнесла я, невольно вспоминая лицейста.

А между тем там царило веселье, насколько можно было назвать весельем это благонравное кружение по зале под перекрестным огнем взглядов бдительного начальства.

Мы стояли в дверях и смотрели, как ловкий, оживленный Троцкий составил маленькую кадрили исключительно из младших институток и подходящих их возрасту кадет и дирижировал ими. В большой кадрили тоже царило оживление, но не такое, как у младших. «Седьмушки» пугали фигуры, бегали, хохотали, суетились — словом, веселились от души. К ним присоединились и некоторые из учителей, желавшие повеселить девочек.

В 12 часов нас, «седьмушек», повели спать, накормив предварительно бульоном с пирожками.

Издали доносились до нас глухим гулом звуки оркестра и выкрики дирижера.

Я скоро уснула, решив написать маме все подробно об институтском бале.

Мне снилась большая зала, кружащиеся в неистовом вальсе пары и длинный лицеист, шепелявивший мне в ухо: «Puis-je vous engager, mademoiselle?»

Глава XV. Итог за полгода. Разъезд. Посылка

Прошло два дня, и институтская жизнь снова вошла в прежнюю колею.

Потянулись дни и недели, однообразные донельзя. Наступало сегодня, похожее как две капли воды на вчера.

Занятия шли прежним чередом. Крикливый голос инспектрисы и несмолкаемое «пиление» Пугача наводили ужасную тоску.

Я взялась за книги с жаром, граничившим с болезненностью. Дело в том, что первое полугодие приходило к концу и наступало время считать учениц по полугодовым отметкам. За поведение я уже получала 12, что и поставило меня в число «парфеток». Моя фамилия красовалась на классной доске. По воскресеньям голова моя украшалась белым и синим шнурками. Эти шнурки давались нам в институте как знак отличия за хорошее поведение и успехи. За дурное же поведение шнурки отнимались, иногда на неделю, а другой раз и навсегда.

Наступало Рождество — первый и самый большой отдых институток в продолжение целого года. «Седьмушки» подсчитывали свои баллы, стараясь высчитать собственноручно, кто стоит выше по успехам, кто ниже. Слышались пререкания, основанные на соревновании.

Нина еще больше побледнела от чрезвычайного переутомления. Она во что бы то ни стало хотела стоять во главе класса, чтобы поддержать, как она не без гордости говорила, «славное имя Джаваха».

Ровно за неделю до праздников все баллы были вычислены и выставлены, а воспитанницы занумерованы по успехам.

Нина была первою ученицею. Целый день княжна ходила какая-то особенная, счастливая и сияющая, стараясь скрыть свое волнение от подруг. Она смотрела вдаль и улыбалась счастливо и задумчиво.

— Ах, Люда, — вырвалось у нее, — как бы мне хотелось видеть отца, показать ему мои баллы!

Я вполне понимала мою милую подружку, потому что сама горела желанием поделиться радостью с мамой и домашними. Мои баллы были немногим хуже княжны. Но все же я старалась изо всех сил быть не ниже первого десятка и успела в своем старании: я была пятою ученицей класса.

— Ведь приятное сознание, не правда ли, когда знаешь, что ты в числе первых? — допрашивала, сияя улыбкой, Нина.

Мы написали по письму домой.

С утра 22 декабря сильное оживление царило в младших классах. Младшие разъезжались на рождественские каникулы... Девочки укладывали в дортуаре в маленькие сундучки и

шкатулочки свой немногочисленный багаж.

— Прощай, Люда, за мной приехали! — кричала мне Надя Федорова, взбегая по лестнице в «собственном» платье.

Я едва узнала ее. Действительно, длинная институтская «форма» безобразила воспитанниц. Маленькая, белокуренькая Надя показалась мне совсем иною в своем синем матросском костюмчике и длинных черных чулках.

— Крошка и Ренне одеваются в бельевой, — добавила она и, не стесненная более институтскою формою, бегом побежала в класс прощаться.

Переодевались девочки в бельевой. Там было шумно и людно. Матери, тетки, сестры, знакомые, няни и прислуга — все это толкалось в небольшой комнате с бесчисленными шкапами.

— Лишние уйдите! — поминутно кричала кастелянша.

Это была строгая дама, своей длинной сухой фигурой и рыжеватыми буглями напоминавшая чопорную англичанку.

— Mademoiselle Иванова, пожалуйста в бельевую, — торжественно возглашал швейцар, причем вызванная девочка вскрикивала и в карьере бежала переодеваться.

— Mademoiselle Запольская, Смирнова, Муравьева, — снова возглашал желанный вестник, и вновь позванные мчались в бельевую.

Мало-помалу класс пустел. Девочки разъезжались.

Осталась всего небольшая группа.

— Душка, вспомни меня на пороге, — кричала Бельская торопившейся прощаться Додо. — Как выйдешь из швейцарской, скажи «Бельская». Это очень помогает, — добавила она совершенно серьезно.

— А я уж в трубу кричала, да не помогает, папа опоздал, верно, на поезд, — печально покачала головкой Миля Корбина, отец которой зиму и лето жил в Ораниенбауме.

— А ты еще покричи, — посоветовала Бельская.

Кричать в трубу — значило призывать тех, кого хотелось видеть. В приемные дни это явление чаще других наблюдалось в классе. Влезет та или другая девочка на табуретку и кричит в открытую вьюшку свое обращение к родным.

Но на этот раз Миле не пришлось кричать.

— Mademoiselle Корбина, папаша приехали, — провозгласил внезапно появившийся швейцар, особенно благоволивший к Корбиной за те рубли и полтинники, которыми щедро сыпал ее отец.

К вечеру классы совсем опустели. Осталось нас на Рождество в институте всего пять воспитанниц. Кира Дергунова, Варя Чекунина, Валя Лер и мы с Ниной.

Кира Дергунова, ужасная лентяйка и в поведении не уступающая Бельской, была самой

отъявленной «мовешкой». На лице ее напечатаны были все ее проказы, но, в сущности, это была предобрая девочка, готовая поделиться последним. Да и шалости ее не носили того злого характера, как шалости Бельской. На Рождество она осталась в наказание, но нисколько не унывала, так как дома ее держали гораздо строже, чем в институте, в чем она сама откровенно сознавалась.

Варя Чекунина, серьезная, не по летам развитая брюнетка, с умными, всегда грустными глазами, была лишена способностей и потому, несмотря на чрезмерные старания, она не выходила из двух последних десятков по успехам. Класс ее любил за молчаливую кротость и милый, чрезвычайно симпатичный голосок. Варя мило пела, за что в классе ее прозвали Соловухой. Не взяли ее родные потому, что жили где-то в далеком финляндском городишке, да и средства их были очень скромные. Варя это знала и тихо грустила.

Наконец, последняя, Валя Лер, была живая, маленькая девочка, немного выше Крошки, с прелестным личиком саксонской куклолки и удивительно метким язычком, которого побаивались в классе.

Домой Валя Лер не поехала, потому что не пожелала. Валя была сирота и терпеть не могла своего опекуна. С Кирой Дергуновой они были подругами.

Вот и все маленькое общество, обреченное проводить время в скучных стенах института.

Мы расползлись по коридорам и опустевшим классам, невольно подчиняясь господствовавшему кругом нас унылому покою.

— Тебе взгрустнулось, милочка, — сказала Нина и, крепко обняв меня, повела в залу.

Мы долго ходили там из угла в угол, оторванные, как нам казалось, от всего мира.

— Люда! Люда! — кричала вбежавшая в зал Кира. — Скорее, скорее в класс, тебе посылка! Тебя всюду ищут!

Мы с Ниной, не разнимая объятий, бросились бегом в класс.

На кафедре стояла громадная корзина, зашита в деревенский холст, на крышке которой была сделана надпись рукою мамы: «Петербург, N-я улица, N-й институт, 7-й класс, институтке Влассовской». Мы все пятеро не без труда стащили корзину на первую скамейку и стали при помощи перочинных ножей освобождать ее от холста. Едва мы тронули крышку, как из корзины потянулся запах жареной дичи и сдобного теста. В корзине была целая индейка, пулярка, пирог с маком, сдобные коржики, домашние булочки, целый пакет смокв и мешок вкусных домашних тянучек собственного изготовления мамы.

— Ах, как вкусно! — вскрикивали девочки, замирая от удовольствия.

— А вот и письмо! — обрадованно воскликнула Нина, видевшая, что я чего-то ищу, и приучившаяся понимать мои взгляды.

Я молча благодарно взглянула на нее и принялась читать письмо, извлеченное из коробки сушеных киевских варений.

«Сердце мое Люда! — писала мама. — Посылаю тебе с оказией (племянник отца Василия едет в ваши края) домашних лакомств и живности, чтобы развлечь тебя, дорогая моя девочка. Не грусти. Я знаю, что тебе тяжело видеть, как разъезжаются твои подруги в разные стороны, но

что делать, моя крошка. Надо потерпеть. Подумай только: впереди у нас целое лето, которое мы проведем неразлучно. Это ли не радость, голубка моя?

Все домашние тебе шлют поклон. Ивась сделал нашему малютке гору, и Вася ежедневно целое утро посвящает на катание с нее. Он очень жалеет, что тебя нет с нами. Я в этом году хотела делать, по обыкновению, скромную елочку, но Вася не хочет. „Когда Люда приедет на лето, тогда сделаешь“. Видишь, как горячо любит тебя твой братец! Я подарила Гапке твое старое серенькое платье, из которого ты уже выросла. Если б ты знала, как она обрадовалась подарку! Чуть не плачет от радости. Пиши мне, как ты проведешь праздники, моя дорогая крошка, и кто остался в институте из вашего класса. Передай милой княжне мой поцелуй. Я ее полюбила, как родную. Прости, моя крошка, — пришли рабочие, надо отпустить. Пиши своей горячо тебя любящей маме».

А под подписью мамы стояли кривые каракульки: «Вася». Я с трудом их разобрала. Это мама, желая сделать приятное своей дочурке, водила рукою брата.

— Ну что? — спросила Нина.

— На, прочти! — протянула я ей письмо, так как давно уже давала ей читать мою корреспонденцию с мамой.

— Ну и пир же мы зададим теперь! — крикнула я повеселевшим вокруг меня девочкам.

Через пять минут мы уже усердно занялись искусной стряпней заботливой Катри.

Глава XVI. Праздники. Лезгинка

Наступили праздники, еще более однообразные и тягучие, нежели будни. Мы слонялись по коридорам и дортуарам. Даже старшие уехали на три дня и должны были приехать в четверг вечером. Ирочки не было, и княжна хандрила. Я не понимаю, как могла посредственная, весьма обыкновенная натура шведки нравиться моей смелой, недюжинной и своеобразной княжне. А она, очевидно, любила Иру, что приводило меня в крайнее негодование и раздражение. Ее имя было часто-часто на языке княжны, и к нему прибавлялись всегда такие нежные, такие ласкательные эпитеты.

Теперь Иры не было, и я могла хоть немного отдохнуть в отсутствие моего врага.

Целые дни мы были неразлучны с княжной.

С утра, встав без звонка (звонки упразднились на время праздников), мы лениво одевались и шли в столовую... Так же лениво, словно нехотя, выпивали кофе, заменявший нам в большие праздники чай, и расползались по своим норам. Мы с Ниной облюбовали окно в верхнем коридоре, где помещался наш и еще два дортуара младших классов. Целые дни просиживали мы на этом окошке, вполголоса разговаривая о том, что наполняло нашу жизнь. Мы строили планы о будущем — очень праздничном и светлом в нашем воображении. Мы решили, что будем неразлучны, что Нина будет проводить зиму на Кавказе, а лето у нас, в хуторе, что я с своей стороны буду гостить у них целый зимний месяц в году.

— Мы устроим прогулки, я познакомлю тебя с нашими горами, аулами, научу ездить верхом, — восторженно говорила милая княжна, — потом непременно взберемся на самую высокую вершину и там дадим торжественный обет вечной дружбы... Да, Люда?

Я видела, как поблескивали ее черные глазки и разгорались щеки жарким румянцем.

— Ах, скорее бы, скорее наступило это время! — тоскливо шептала она. — Знаешь, Люда, мне иногда кажется, что будущее так светло и хорошо, что я не доживу до этого счастья!

— Что ты, Ниночка! — в ужасе восклицала я и, чуть не плача, зажимала ей рот поцелуями.

По вечерам мы усаживались на чью-либо постель и, тесно прижавшись одна к другой, все пять девочек, запугивали себя страшными рассказами. Потом, наслушавшись разных ужасов, мы тряслись всю ночь как в лихорадке, пугаясь крытых белыми пикейными одеялами постелей наших уехавших подруг, и только под утро засыпали здоровым молодым сном.

В пятницу утром (вечером у нас была назначена елка) нас повели гулять по людным петербургским улицам. Делалось это для того, чтобы съехавшимся накануне старшим можно было тайком от нас, маленьких, украсить елку. Для прогулки нам были выданы темно-зеленые пальто воспитанниц католичек и лютеранок, ездивших в них в церковь по праздникам. На головы надели вязаные капоры с красными бантиками на макушке.

Впереди шла чинно Арно, сзади же — швейцар в ливрее.

Шли мы попарно: Валя Лер впереди с Пугачом, как самая маленькая, за ними Кира и Чекунина, и, наконец, шествие заключали мы с Ниной.

— Что это? Приютских девочек ведут? — недоумевая, остановилась перед нами какая-то старушка.

— Parlez francais! — коротко приказала Арно, обиженная тем, что вверенных ей воспитанниц принимают за приютских.

— Ах, милашки! — воскликнула, проходя под руку с господином, какая-то сердобольная барынька. — Смотри, какие худенькие! — жалостливо протянула она, обращаясь к мужу.

— От институтских обедов не растолстеешь, да и заучивают их там, этих институток, — сердито молвил тот.

Мы чуть не фыркнули. От этой встречи нам стало вдруг весело.

Кира, знавшая Петербург очень сносно, поясняла нам, по какой улице мы проходили.

Великолепные магазины, красивые постройки и пестрая, нарядная толпа приковывали мой взор, и я молча шла рядом с Ниной, лишь изредка делаясь с нею моими впечатлениями.

На обратном пути мы зашли в кондитерскую за пирожными. Там все удивленно и сочувственно смотрели на нас.

Оживленные и порозовевшие от мороза, мы вошли снова под тяжелые своды нашего институтского здания.

В семь часов вечера нас повели в зал, двери которого целый день были таинственно закрыты.

В это время из залы донеслись звуки рояля, двери бесшумно распахнулись, и мы ахнули... Посреди залы, вся сияя бесчисленными огнями свечей и дорогами, блестящими украшениями, стояла большая, доходящая до потолка елка. Золоченые цветы и звезды на самой вершине ее горели и переливались не хуже свечей. На темном бархатном фоне зелени красиво выделялись повешенные бонбоньерки, мандарины, яблоки и цветы, сработанные старшими. Под елкой

лежали груды ваты, изображающей снежный сугроб.

Мне пришло в голову невольное сравнение этой нарядной красавицы елки с тем маленьким деревцом, едва прикрытым дешевыми лакомствами, с той деревенской рождественской елочкой, которою мама баловала нас с братом. Милая, на все способная мама сама клеила и раскрашивала незатейливые картонажи, золотила орехи и шила мешочки для орехов и леденцов. И все это с величайшей осторожностью, тайком, чтобы никто не догадывался о сюрпризе. Та елка, скромная, деревенская, которую делала нам мама, была мне в десять раз приятнее и дороже...

Я невольно вздохнула.

Как раз в это время к нам подошла Мамап, сияя своей неизменной, довольной улыбкой. Она была окружена учителями и их семьями, пришедшими, по ее приглашению, взглянуть на институтскую елку и дать повеселиться своим детям.

— Вас ожидает сюрприз, — произнесла Мамап, обращаясь к нам и другим младшим классам, живо заинтересовавшимся этой вестью.

— Какой? — повернулась я было в сторону Нины и смолкла; княжны подле меня не было.

— Ты не знаешь, где Нина? — тревожно обратилась я к Кире, стоявшей подле меня.

— Она только что говорила с инспектрисой и куда-то побежала, — ответила мне та, не отрывая глаз от елки.

В ожидании моего друга я подошла вместе с другими нашими к маленьким детям наших преподавателей.

Особенно понравился мне пятилетний сын француза Ротье, Жан, прелестный голубоглазый ребенок с длинными локонами и недетской развязностью.

— Ты любишь институток? — спросила его Кира.

Он вскинул глаза на говорившую и пресерьезно ответил, дожевывая яблоко, по-французски:

— Институтки ужасные лентяйки; когда я вырасту и буду учить, как папа, я им всем наставлю единиц.

Мы громко расхохотались.

Трогательно прелестна была парочка близнецов — детей русского учителя. Они, мальчик и девочка по восьмому году, держались за руки и в молчаливом восхищении рассматривали елку.

В эту минуту дверь снова распахнулась и в зал вошла целая толпа ряженных. Впереди была хорошенькая пестрая бабочка, эфирная и воздушная, под руку с цветком мака, в которых я не без труда узнала Иру и Михайлову. За ними неслась Коломбина. Дальше — полевые розы, потом китаянка, цветочница, рыбачка и добрый гений в белой тунике и с крыльями — Леночка Корсак, вся утонувшая в своих белокурых косах. Но кто же это там между ними, этот маленький красавец джигит в национальном наряде из малинового шелка? Его белая папаха низко сдвинута на глаза, а черные усики ловко скрывают нижнюю часть лица.

«Откуда этот красивый мальчик с искусно наведенными усиками? — терялась я в догадках. —

И как его пустили ряженым в наш зал?»

Старик Ротье шутливо поймал джигита за руку; тот, выхватив кинжал из-за пояса, погрозил французу.

Теперь по знаку Мамап заиграли вальс, и все закружилось в моих глазах.

— Puis-je vous engager, mademoiselle? — шепелявя и подражая лицеисту, проговорил подлетевший ко мне мальчик-джигит.

— Ах!

И я громко рассмеялась, узнав по голосу Нину.

— Вот провела-то! — хохотала я.

— Что, не похожа? — радовалась княжна.

— Совсем, совсем не узнали, — весело подхватили наши.

— Как это тебе позволили одеться мальчиком?

— Мне Мамап велела через Еленину, — шепотом докладывала Нина, — она знала, что я костюм привезла с Кавказа и знаю лезгинку, и велела мне танцевать.

— И ты будешь танцевать?

— Конечно! Вот уже заиграли. Слышишь? Надо начинать! — И хорошенький джигит при первых звуках начатой тапером лезгинки ловко выбежал на середину зала и встал в позу. Начался танец, полный огня, пластичности, ловкости и той неподражаемой живости, которая может только быть у южного народа.

Хорошо танцевала Нина, змейкой скользя по паркету, все ускоряя и ускоряя темп пляски. Ее глаза горели одушевлением. Еще до начала пляски она стерла свои нелепые усы и теперь неслась перед нами с горевшими как звезды глазами и выпавшими длинными косами из-под сбившейся набок папахи. Разгоревшаяся в своем оживлении, она казалась красавицей.

Но вот она кончила. Ей неистово аплодировала вся зала. Просили повторения, но Нина устала; тяжело дыша, подошла она на зов Мамап, которая с нежной лаской поцеловала общую любимицу и, вытерев заботливо со лба Нины крупные капли пота, отпустила ее веселиться. Я хотела было подбежать к Нине и крепко расцеловать ее за доставленное ею удовольствие. Я так пылала любовью к моей хорошенькой талантливой подруге, которой гордилась, как никогда, но — увы! — Нину уже подхватили старшие и, наперерыв угощая конфетами и поцелуями, увели куда-то.

Потом она появилась снова в зале, обнявшись с Ирочкой Трахтенберг, и я не посмела отнять ее у нарядной бабочки.

В первый раз за мое полугодичное пребывание в институте я почувствовала себя совсем одинокой.

Сердце мое сжималось... грудь сдавило... Но когда Нина прибежала ко мне, все мое горе исчезло...

Между тем праздники подходили к концу. В воскресенье стали съезжаться девочки. Каникулы кончились, и институтская повседневная жизнь снова вступила в свои права.

Глава XVII. Высочайшие гости

Однажды, дней через десять по съезде институток, когда мы чинно и внимательно слушали немецкого учителя, толковавшего нам о том, сколько видов деепричастий в немецком языке, раздался громко и неожиданно густой и гулкий удар колокола.

«Пожар!» — вихрем пронеслось в наших мыслях. Некоторым сделалось дурно. Надю Федорову, бесчувственную, на руках вынесли из класса. Все повскакали со своих мест, не зная, куда бежать и на что решиться.

Классная дама и учитель переглянулись, и первая торжественно произнесла:

— Bleibt ruhig, das ist die Kaiserin (успокойтесь, это государыня)!

— Государыня приехала! — ахнули мы, и сердца наши замерли в невольном трепете ожидания.

Государыня! Как же это сразу не пришло в голову, когда вот уже целую неделю нас старательно готовили к приему Высочайшей Посетительницы. Каждое утро до классов мы заучивали всевозможные фразы и обращения, могущие встретиться в разговоре с императрицей. Мы знали, что приезду лиц царской фамилии всегда предшествует глухой и громкий удар колокола, висевшего у подъезда, и все-таки в последнюю минуту, ошеломленные и взволнованные, мы страшно растерялись.

М-лле Арно кое-как успокоила нас, усадила на места, и прерванный урок возобновился. Мы видели, как менялась поминутно в лице наша классная дама, старавшаяся во что бы то ни стало сохранить присутствие духа; видели, как дрожала в руках учителя книга грамматики, и их волнение невольно заражало нас.

«Вот-вот Она войдет, давно ожидаемая, желанная Гостья, войдет и сядет на приготовленное ей на скорую руку кресло...» — выстукивало мое неугомонное сердце.

Ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут дверь широко распахнулась и в класс вошла небольшого роста тоненькая дама, с большими выразительными карими глазами, ласково глядевшими из-под низко надвинутой на лоб меховой шапочки, с длинным дорогим боа на шее поверх темного, чрезвычайно простого коричневого платья.

С нею была Матап и очень высокий широкоплечий плотный офицер, с открытым, чрезвычайно симпатичным, чисто русским лицом.

— Где же Государыня? — хотела я спросить Нину, вполне уверенная, что вижу свиту Монархини, но в ту же минуту почтительно выстроившиеся между скамей наши девочки, низко приседая, чуть не до самого пола, проговорили громко и отчетливо, отчеканивая каждый слог:

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!

И тотчас же за первой фразой следовала вторая на французском языке:

— Nous avons l'honneur de saluer Votre Majeste Imperial!

Сомнений не было. Передо мною были Государь и Государыня.

«Так вот они!» — мысленно произнесла я, сладко замирая от какого-то нового, непонятного мне еще чувства.

В моем впечатлительном и несколько мечтательном воображении мне представлялась совсем иная Царская Чета. Мысль рисовала мне торжественное появление Монархов среди целой толпы нарядных царедворцев в богатых, золотом шитых, чуть ли не парчовых костюмах, залитыми с головы до ног драгоценными камнями...

А между тем передо мною простое коричневое платье и военный сюртук одного из гвардейских полков столицы. Вместо величия и пышности простая, ободряющая и милая улыбка.

— Здравствуйте, дети! — прозвучал густой и приятный бас Государя. — Чем занимались?

Мамап поспешила объяснить, что у нас урок немецкого языка, и представила Царской Чете m-lle Арно и учителя. Государь и Государыня милостиво протянули им руки.

— А ну-ка, я проверю, как вы уроки учите, — шутливо кивнул нам головою Государь и, обведя класс глазами, поманил сидевшую на первой скамейке Киру Дергунову.

У меня замерло сердце, так как Кира, славившаяся своею ленью, не выучила урока — я была в этом уверена. Но Кира и глазом не моргнула. Вероятно, ее отважная белокурая головка с вздернутым носиком и бойкими глазенками произвела приятное впечатление на Царскую Чету, потому что Кира получила милостивый кивок и улыбку, придавшие ей еще больше храбрости. Глаза Киры с полным отчаянием устремились на учителя. Они поняли друг друга. Он задал ей несколько вопросов из прошлого урока, на которые Кира отвечала бойко и умело.

— Хорошо! — одобрил еще раз Государь и отпустил девочку на место.

Потом его взгляд еще раз обежал весь класс, и глаза его остановились на миг как раз на мне. Смутный, необъяснимый трепет охватил меня от этого пронизательного и в то же время ласково-ободряющего взгляда. Мое сердце стучало так, что мне казалось — я слышала его биение... Что-то широкой волной прилило к горлу, сдавило его, наполняя глаза теплыми и сладкими слезами умиления. Близость Монарха, Его простое, доброе, отеческое отношение, — Его — великого и могучего, держащего судьбу государства и миллионов людей в этих мощных и крупных руках, — все это заставило содрогнуться от нового ощущения впечатлительную душу маленькой девочки. Казалось, и Государь понял, что во мне происходило в эту минуту, потому что глаза его засияли еще большею лаской, а полные губы мягко проговорили:

— Пойди сюда, девочка.

Взволнованная и счастливая, я вышла на середину класса, по примеру Киры, и отвесила низкий-низкий реверанс.

— Какие-нибудь стихи знаешь? — снова услышала я ласкающие, густые, низкие ноты.

— Знаю стихотворение «Erlkonig», — тихо-тихо ответила я.

— Ihres Kaiserliche Majestat прибавляйте всегда, когда Их Величества спрашивают, — шепотом подсказал мне учитель.

Но я только недоумевающе вскинула на него глаза и тотчас же отвела их, вперив пристальный, не мигающий взгляд в богатырски сложенную фигуру обожаемого Россией Монарха.

«Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?..» — начала я робким и дрожащим от волнения голосом, но чем дальше читала я стихотворение, выученное мною добросовестно к предыдущему уроку, тем спокойнее и громче звучал мой голос, и кончила я чтение очень и очень порядочно.

— Прекрасно, малютка! — произнес милый бас Государя. — Как твоя фамилия?

Его рука, немного тяжелая и большая, настоящая державная рука, легла на мои стриженные кудри.

— Влассовская Людмила, Ваше Императорское Величество, — догадалась я ответить.

— Влассовская? Дочь казака Влассовского?

— Так точно, Ваше Императорское Величество, — поспешила вмешаться Маман.

— Дочь героя, славно послужившего родине! — тихо и раздумчиво повторил Государь, так тихо, что могли только услышать Государыня и начальница, сидевшая рядом. Но мое чуткое ухо уловило эти слова доброго Монарха.

— Approche, mon enfant (подойди, мое дитя)! — прозвучал приятный и нежный голосок Императрицы, и едва я успела приблизиться к ней, как ее рука в желтой перчатке легла мне на шею, а глубокие, прелестные глаза смотрели совсем близко около моего лица.

Я инстинктивно нагнулась, и губы Государыни коснулись моей пылавшей щеки.

Счастливая, не помня себя от восторга, пошла я на место, не замечая слез, текших по моим щекам, не слыша ног под собою...

Царская Чета встала и, милостиво кивнув нам, пошла к двери. Но тут Государь задержался немного и крикнул нам весело, по-военному:

— Молодцы, ребята, старайтесь!

— Рады стараться, Ваше Императорское Величество! — звонко и весело, не уступая в искусстве солдатам, дружно крикнули мы.

Как только Государь с Государыней и начальницей вышли в коридор, направляясь в старшие классы, нас быстро собрали в пары и повели в зал.

Наскоро, суетясь и мешая друг другу, наши маленькие музыкантши уселись за рояли, чтобы в 16 рук играть тщательно разученный марш-полонез, специально приготовленный к царскому приезду.

Сзади них стояла толстененькая, старшая музыкальная дама, вся взволнованная, с яркими пятнами румянца на щеках.

— Идут! Идут! — неистово закричали девочки, сторожившие появление Царской Четы у коридорных дверей.

Музыкальная дама взмахнула своей палочкой, девочки взяли первые аккорды... Высокие Гости в сопровождении Маман, подоспевших опекунов, институтского начальства и старших воспитанниц, окруживших Государя и Государыню беспорядочной гурьбой, вошли в зал и заняли места в креслах, стоявших посередине между портретами Императора Павла I и Царя-

Освободителя.

Приветливо и ласково оглядывали Высочайшие Посетители ряды девочек, притаивших дыхание, боявшихся шевельнуться, чтобы не упустить малейшего движения дорогих гостей.

Мы не сводили глаз с обожаемых Государя и Государыни, и сердца наши сладко замирали от счастья.

Музыкальная пьеса в 16 рук окончилась, вызвав одобрение Государя и похвалу Государыни. Вслед за тем на середину вышла воспитанница выпускного класса Иртеньева и на чистейшем французском языке проговорила длинное приветствие — сочинение нашего Ротье — с замысловатым вычурным слогом и витиеватыми выражениями. Государыня милостиво протянула ей для поцелуя руку, освобожденную от перчатки, — белую маленькую руку, унизанную драгоценными кольцами.

Затем вышла воспитанница 2-го класса, добродушная, всеми любимая толстушка Баркова, и после низкого-низкого реверанса прочла русские стихи собственного сочинения, в которых просто и душевно выразилось горячее чувство любящих детей к их незабвенным Отцу и Матери.

Государь был, видимо, растроган. Государыня с влажными и сияющими глазами обняла обезумевшую от восторга юную поэтессу.

Потом все наши окружили рояль с севшею за него воспитанницею, и своды зала огласились звуками красивой баркароллы. Молодые, сочные голоса слились в дружном мотиве баркароллы с массою мелодий и переливов, искусными трелями и звонкими хорами. Во время пения Высочайшие Гости покинули свои места и стали обходить колонны институток. Они милостиво расспрашивали ту или другую девочку о ее родителях, успехах или здоровье. Увидя два-три болезненных личика, Государь останавливался перед ними и заботливо осведомлялся о причине их бледности. Затем обращался с просьбою к следовавшей за ними Матан обратить внимание на болезненный вид воспитанниц и дать возможность употреблять самую питательную пищу. Как раз когда он проходил мимо нашего класса, мой взгляд упал на Нину. Бледная, с разгоревшимися глазами трепетно вздрагивающими ноздрями, она вся превратилась в молчаливое ожидание. Государь внезапно остановился перед нею.

— Твое имя, малютка?

— Княжна Нина Джаваха-алы-Джамата, — звонким гортанным голоском ответила Нина.

Государь улыбнулся доброй улыбкой и погладил глянцевитые косы девочки.

— Твоя родина Кавказ? — спросила по-русски Государыня.

— Так точно, Ваше Величество! — произнесла Нина.

— А ты любишь свою родину? — спросил Государь, все еще не спуская руки с чернокудрой головки.

— Что может быть лучше Кавказа! Я очень-очень люблю мой Кавказ! — пылко, забывая все в эту минуту, воскликнула Нина, блестя глазами и улыбкой, делавшей прелестным это гордое личико, смело и восторженно устремленное в лицо Монарха.

— Charmant enfant! — тихо проговорила Государыня и о чем-то заговорила с начальницей.

Видя, что Высочайшие Гости собираются отъехать, институтский хор грянул «Боже, Царя храни», законченный таким оглушительно-звонким «ура!», которое вряд ли забудут суровые институтские стены.

Тут уже, пренебрегая всеми условными правилами, которым безропотно подчинялись в другое время, мы бросились всем институтом к Монаршей Чете и, окружив ее, двинулись вместе с нею к выходу. Напрасно начальство уговаривало нас опомниться и собраться в пары, напрасно грозило всевозможными наказаниями, — мы, послушные в другое время, теперь отказывались повиноваться. Мы бежали с тем же оглушительным «ура!» по коридорам и лестницам и, дойдя до прихожей, вырвали из рук высокого внушительного гайдука соболью ротонду Императрицы и форменное пальто Государя с барашковым воротником и накинули их на царственные плечи наших гостей.

Потом мы надели теплые меховые калоши на миниатюрные ножки Царицы и уже готовились проделать то же и с Государем, но он вовремя предупредил нас, отвлекая наше внимание брошенным в воздух носовым платком. Какая-то счастливица поймала платок, но кто-то тотчас же вырвал его у нее из рук, и затем небольшой шелковый платок Государя был тут же разорван на массу кусков и дружно разделен «на память» между старшими.

— А нам папироски, Ваше Величество! — запищали голоса маленьких, видевших, что Государь стал закуривать.

— Ах вы, малыши, вас и забыли! — засмеялся он и мигом опустошил золотой портсигар, раздав все папиросы маленьким.

— Распустите детей на три дня! — в последний раз прозвучал драгоценный голос Монарха, и Царская Чета вышла на подъезд.

Оглушительное «ура!» было ответом — «ура!» начатое в большой институтской швейцарской и подхваченное тысячной толпой собравшегося на улице народа. Кивая направо и налево, Высочайшие Гости сели в сани, гайдук вскочил на запятки, и чистокровные арабские кони, дрожавшие под синей сеткой и мечущие искры из глаз, быстро понеслись по снежной дороге.

Мы облепили окна швейцарской и соседней с нею институтской канцелярии, любуясь дорогими чертами возлюбленных Государя и Государыни.

— Господи, как хорошо! Как я счастлива, что мне удалось видеть Государя! — вырвалось из груди Нины, и я увидела на ее всегда гордом личике выражение глубокого душевного умиления.

— Да, хорошо! — подтвердила я, и мы обнялись крепко-крепко...

Наше восторженное настроение было прервано Манею Ивановой.

— Как жалко, mesdam'очки, что Государь с Государыней не прошли в столовую, — чистосердечно сокрушалась она.

— А что?

— А то, что, наверное бы, нас кормить стали лучше. А то котлеты с чечевицей, котлеты с бобами, котлеты и котлеты. С ума можно сойти...

Но никто не обратил внимания на ее слова и не поддержал на этот раз Маню; все считали, что

напоминание о котлетах в эту торжественную минуту было совсем некстати. Всех нас охватило новое чувство, вряд ли даже вполне доступное нашему пониманию, но зато вполне понятное каждому истинно русскому человеку, — чувство глубокого восторга от осветившей нашу душу встречи с обожаемым нами, бессознательно еще, может быть, великим Отцом великого народа.

И долго-долго после того мы не забыли этого великого для нас события...

Глава XVIII. Проказы

«Милый лавочник! Пришлите нам, пожалуйста, толокна на 5 копеек, пеклеванник в 3 копейки, непременно горячий, и на 2 копейки паточных леденцов».

Так гласила записка, старательно нацарапанная Марусей Запольской — нашей вездесущей и на все поспевающей Краснушкой... Кира поправила ошибки, и записка с новеньким блестящим пятиалтынным погрузилась в необъятный карман Киры.

Дело в том, что Краснушке принесла в «прием» ее старшая сестра прехорошенький шелковый кошелек своей работы, в одном углу которого был положен совершенно новенький блестящий пятиалтынный. Не долго думая, девочка извлекла монету и, по примеру старших, написала лавочнику, чтобы получить самые доступные институтским средствам лакомства. Затем Кира, отчаянная в такого рода предприятиях, сунула записку в карман и, взяв маленькую белую кружку, особенно развязно подошла к кафедре и сказала сидевшему на ней Пугачу: «J'ai soif (я хочу пить)».

Далекая от всякого подозрения, Арно кивком головы отпустила лукавую девочку. Лишь только Кира выскользнула из класса, она бегом пустилась по коридору, спустилась по лестнице и заглянула в швейцарскую. Там кроме швейцара Петра и его помощника Сидора сидел маленький, сморщенный, но бодрый и подвижный младший сторож, старик Гаврилыч.

Юркими маленькими глазками следил он за каждым движением своего начальства, очевидно, заметя приход Киры, и лишь только Петр вышел зачем-то из швейцарской, Гаврилыч опрометью бросился к девочке.

— Гаврилыч, миленький, сбегай в лавочку; вот тебе записка, там уже все написано, что надо, а вот и деньги. Пятачок себе за труды возьми — только скорее, а как принесешь, за дверь положи, в темном углу, — просила, торопясь и поминутно оглядываясь, Кира.

— Слушаю-с, барышня, голубушка, только не попадитесь классным дамам, упаси Боже! — опасливо зашептал Гаврилыч и, взяв записку от Киры, побежал через девичью задним ходом в лавку.

Кира вернулась в класс, стараясь незаметно проскользнуть мимо Пугача, что ей удалось самым блестящим образом.

— Все сделано, — торжественно заявила она Краснушке.

— А кто же пойдет за покупкой, когда Гаврилыч ее принесет? — спросила я.

— Mesdam'очки, дайте я схожу за кусок пеклеванного и два леденца, — вызвалась Бельская.

— Идет, — согласились Кира и Краснушка в один голос.

— Ну ступай же! — шепотом произнесла Кира, когда ей показалось, что прошло достаточно

времени и Гаврилыч успел вернуться из лавки. Бельская молча кивнула головой и, взяв злосчастную кружку, подошла просить Пугача пойти напиться.

Вероятно, частая необычайная жажда двух самых отъявленных шалуний навела на некоторое подозрение Пугача. M-lle Арно, однако же, отпустила Бельскую, но, дав ей выйти из класса, неожиданно встала и пошла по ее следам. Весь класс замер от страха.

— Что-то будет? Что-то будет? — в ужасе тоскливо повторяли девочки.

А было вот что. Ничего не подозревавшая Бельская стрелою неслась по коридору и, спустившись по лестнице, побежала к стеклянной двери, за которую, по ее расчету, должны были находиться лакомства, уже принесенные Гаврилычем.

Она не ошиблась: в темном углу за дверью лежал небольшой тюрничек с толокном, леденцами и завернутый в мягкую обертку горячий, свежее испеченный пеклеванный хлебец. Бельская сложила все это в карман, едва вместивший сокровища, и уже готовилась покинуть угол, как вдруг неприятный, резкий голос заставил ее вскрикнуть от испуга.

Перед нею, разгневанная до последней степени, стояла Арно.

— *C'est ainsi, que vous avez soif* (это также потому, что вы хотите пить)? — бешено крикнула она Бельской и прибавила еще строже: — *Debarassez votre poche de tous les salites* (достаньте из кармана все эти гадости).

«Если б она знала, какие здесь вкусные вещи: горячий пеклеванный, леденцы и толокно. Это она называет *salites* (гадости)!» — мысленно сокрушалась Бельская.

Но, очевидно, m-lle Арно не разделяла ее мнения и вкусов.

Осторожно, с преувеличенной брезгливостью она извлекла двумя пальцами «*tous les salites*» из кармана перепуганной девочки и, держа тюрничек двумя пальцами, точно боясь испачкаться, взяла другой рукой за руку Бельскую и торжественно повлекла ее в класс.

«У-у, противная!» — мысленно бранилась попавшаяся шалунья, стараясь освободить свою руку из цепких пальцев классной дамы.

— *Mesdames*, одна из ваших подруг, — начала торжественно Арно, войдя в класс и влезая на кафедру, — преступила правила нашего института и должна быть строго наказана. Таких шалостей нельзя простить! Это... это... возмутительно! — горячилась она. — Я буду настаивать на исключении Бельской, если она чистосердечно не покается и не укажет на девушку, купившую ей весь этот ужас.

Очевидно, m-lle Арно была далека от подозрения на Гаврилыча.

— Я иду, — продолжала она, — к инспектрисе, доложить о случившемся.

И, грозно потрясая тюрничком, она торжественно вышла из класса.

— Бедная Белочка! — сочувственно говорили институтки.

Никому и в голову не приходило назвать Гаврилыча и этим спасти подругу. Все отлично знали, что несчастный старик мог бы из-за нашей шалости потерять насиженное казенное, хотя и очень скромное место и тогда пустить по миру семью, живущую где-нибудь на чердаке или в

подвале.

Жалко было, бесконечно жалко и до смерти перепуганную Бельскую.

— Не горюй, Белочка, ведь это виноваты мы с Кирой, — говорила Краснушка, тоже чуть не плача. — Мы сейчас же пойдём и выпутаем её, — решительно прибавила она, энергично тряхнув золотисто-красной головкой.

— Стойте! — вдруг вырвалось у княжны, молчавшей все время и только хмурившей свои тонкие брови. — Если вы пойдёте к инспектрисе, вас выключат точно так же, как и Бельскую: а вы обе «мовешки» или считаетесь, по крайней мере, такими. Пойду к начальнице я и признаюсь, как и что было, под условием, чтобы Гаврилычу ничего не было, а вся вина пала бы на меня...

— Но ты пострадаешь, Нина! — протестовали девочки.

— Все-таки не так, как другие на моем месте. Меня не выключат, потому что Маман дала слово отцу беречь меня и я на её попечении... И притом я ведь считаюсь «парфеткой», а «парфеток» так легко не исключают. Утри свои слезы, Бельская, а тебе, Краснушка, нечего волноваться, и тебе, Кира, тоже, — все будет улажено. Я ведь помню, как за меня пострадала Люда. Теперь моя очередь. Пойдем со мной к Маман, — кивнула она мне, и мы обе вышли из класса среди напутствий и пожеланий подруг.

Крошка, не говорившая со мной и Ниной более трех месяцев, быстро догнала нас у класса со словами:

— Помирился, Джаваха!

Нина и я охотно поцеловались с ней в знак примирения.

— Видишь, она тоже хорошая! — расчувствовавшись, сказала я.

Мы пробежали лестницу и коридоры в одну минуту и, остановившись у швейцарской, позвали швейцара.

— Что, Маман дома? — спросила княжна.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, княгиня у себя, — почтительно ответил швейцар, зная, что маленькой Джавахе открыт во всякое время доступ в квартиру начальницы.

Нина храбро направилась туда, не выпуская моей руки... Я робко переступила порог той самой комнаты, в которую около полугода тому назад вошла смущенной и конфузливой маленькой провинциалкой.

Княгиня сидела в большом, удобном кресле с каким-то вышиваньем в руках. Но на этот раз она не встала нам навстречу с ласковым приветом «Добро пожаловать», а поманила нас пальцами, проронив недоумеваю:

— Что скажете, дети?

У меня язык прилип к гортани, когда я увидела это строгое, хотя приветливо улыбающееся лицо начальницы, её величественно стройную, крупную фигуру.

— Что скажете, дети? — повторила она, подняв глаза от работы.

Когда начальница заметила Нину, лицо ее вдруг стало ласковее:

— А, маленькая княжна, что нового?

Нина выдвинулась вперед и дрожащим от волнения голосом начала свое признание. Добрая девочка боялась не за себя. Назвать Гаврилыча — значило подвергнуть его всевозможным случайностям, не назвать — было очень трудно.

По мере того как говорила Нина, лицо начальницы принимало все более и более строгое выражение, и, когда Нина кончила свою исповедь, выдуманную ею тут же на скорую руку, лицо княгини стало темнее тучи.

— Я не верю, чтобы это сделала ты — лучшая из воспитанниц, опора и надежда нашего института, — начала она спокойным и резким голосом, из которого точно по удару магического жезла исчезали все лучшие бархатные, ласкающие ноты. — Но все равно, раз ты созналась, ты и будешь наказана. Доводить до сведения твоего отца этого поступка, недостойного княжны Джавахи, я не буду, но ты должна сказать, кто принес вам покупки.

При последних словах начальницы Нина вздрогнула всем телом. Ее мысленному взору, как она мне потом рассказывала, живо представились голодные ребятишки выгнанного со службы Гаврилыча, просящие хлеба, и сам сторож, больной и подавленный горем.

— Мамап, — скорее простонала, нежели прошептала княжна, — я вам назову это лицо, если вы обещаете мне не выгонять несчастного.

Тут уже княгиня вышла из себя.

— Как! — крикнула она. — Ты еще смеешь торговаться! Я не вижу раскаяния в твоих словах... Напроказничала, хуже того — исподтишка, как самая последняя, отъявленная шалунья, наделала неприятностей, да еще смеет рассуждать! Изволь назвать сейчас же виновного или виновную, или ты будешь строго наказана.

Лицо Нины бледнело все больше и больше. На матово-белом лбу ее выступили крупные капли пота. Она продолжала хранить упорное молчание. Только глаза ее разгорались все ярче и ярче, эти милые глаза, свидетельствующие о душевной буре, происходившей в чуткой и смелой душе княжны...

Княгиня снова подняла на Нину неумолимо строгие глаза, и взоры их скрестились. Вероятно, справедливая и добрая Мамап поняла мучения бедной девочки, потому что лицо ее разом смягчилось, и она произнесла уже менее строго:

— Я знаю, что ты не скажешь, кто тебе помогал, но и не станешь больше посылать в лавку, потому-то теперешнее твое состояние — боязнь погубить других из-за собственной шалости — будет тебе наукой. А чтобы ты помнила хорошенько о твоем поступке, в продолжение целого года ты не будешь записана на красную доску и перейдешь в следующий класс при среднем поведении. Поняла? Ступай!

Нина повернулась уже к двери, когда начальница снова позвала ее.

— И что с тобой сделалось? Ты так круто изменилась, Джаваха! Как ты думаешь, приятно будет твоему отцу такое поведение его дочери? Природная живость — не порок. Даже шалость детская, безвредная шалость еще простительна, но этот поступок — из рук вон плох!

— А ты, — более милостиво повернулась ко мне начальница, — ты отчего не остановила свою подругу?

Я молчала.

— Чтобы впредь не повторялось ничего подобного!.. — строго произнесла княгиня.

«Если б она знала, если б она только знала, как велика, как чудно-хороша эта благородная, светлая душа милой княжны! — сверлила мой мозг волновавшая меня мысль. — Если б она знала, сколько самоотвержения и доброты в детском сердечке Нины!..»

Мы вышли присмирившие и взволнованные из квартиры начальницы, несколько даже счастливые подобным исходом дела, оставившим в стороне бедного, насмерть напуганного Гаврилыча.

В классе нас встретили шумными восклицаниями, возгласами благодарности и восхищения.

Кира, Краснушка и Бельская буквально душили Нину поцелуями.

— Мы твои верные друзья до гроба! — восторженно говорила за всех троих Бельская.

В наше отсутствие, оказывается, приходила инспектриса и наказала троих вышеупомянутых воспитанниц, сняв с них передники и оставив без шнурка, но о выключении не было и речи, так как догадливый Пугач пронюхал, что Джаваха у Матап, стало быть, она виноватая. К тому же, когда имя Нины произнесено было в классе, девочки неловко смолкли, не решаясь взвести напрасное обвинение на их самоотверженную спасительницу.

— Матап не позволяет мне ставить 12 за поведение, — отрапортовала звонким голосом княжна, — и мое имя до следующего класса не будет на красной доске.

— Вот как! — И Пугач сделала большие глаза. — За что?

— За то, что я послала за покупками, а Бельская по моему поручению только побежала вниз взять их из-за дверей.

— Очень похвально! И это примерная воспитанница! — прошипела Арно, вся краснея от гнева.

На следующее воскресенье мы должны были получить белые и красные шнурки за поведение.

— Что это княжна Джаваха без шнурка? — изумилась Ирочка, проходя вместе с двумя другими воспитанницами мимо наших столов на кухню, где они, под руководством классной дамы, осматривали провизию.

— От шнурков только волосы секутся, — не без некоторой лихости произнесла княжна.

— А вон зато теперь Влассовская в «парфетки» попала, — шутили старшие, заставляя меня мучительно краснеть.

Белый с двумя пышными кисточками за отличное поведение шнурок точно терновый венец колот мою голову. Я бы охотно сняла его, признавая княжну более достойной носить этот знак отличия, но последняя серьезно запретила мне снимать шнурок, и я волей-неволей должна была подчиниться.

Кира, Бельская и Краснушка нимало не смущались мыслью провести целый день на глазах всех

институтков без знака отличия: они привыкли к этому...

А время между тем быстро подвигалось вперед. Наступила масленица с прогулками пешком, ежедневными на завтрак четырьмя блинами с горьковатым топленым маслом и жидкой сметаной. Старших возили осматривать Зимний дворец и Эрмитаж. Младшим предоставлено было сновать по зале и коридорам, читать поучительные книжки, где добродетель торжествует, а порок наказывается, или же играть «в картинки» и «перышки».

Глава XIX. Пост. Говельщицы

Прощальное воскресенье было особенным, из ряду вон выходящим днем институтской жизни. С самого утра девочки встали в каком-то торжественном настроении духа.

— Завтра начало поста и говенья, сегодня надо просить у всех прощения, — говорили они, одеваясь и причесываясь без обычного шума.

В приеме те, к которым приходили родные, целовали как-то продолжительно и нежно сестер, матерей, отцов и братьев. После обеда ходили просить прощения к старшим и соседям-шестым, с которыми вели непримиримую «войну Алой и Белой розы», как, смеясь, уверяли насмешницы пятые, принявшиеся уже за изучение истории. Гостинцы, принесенные в этот день в прием, разделили на два разряда: на скоромные и постные, причем скоромные запихивались за обе щеки, а постные откладывались на завтра.

— Как ты думаешь, тянушки постные? — кричала наивная Надя Федорова через весь класс Бельской.

— Ну, конечно, глупая, скоромные, ведь они из сливок.

— Так это белые, а я про красные спрашиваю...

— Да ведь они тоже на сливках.

— Неправда, из земляники.

— Фу, какая ты, душка, дура! — не утерпела Бельская.

— Медамочки, это она в прощальное-то воскресенье так ругается! — ужаснулась Маня Иванова, подоспевшая к спорившим, и прибавила нежным голоском, умильно поглядывая на тянушки: — Дай попробовать, Надюша, и я мигом узнаю, скоромные они или постные.

На другое утро мы были разбужены мерными ударами колокола из ближайшей церкви, где оканчивалась, по всем вероятиям, ранняя обедня.

В столовой пахло каким-то еле уловимым запахом.

— Это от трески, — нюхая вздернутым носиком, заявила опытная в этом деле Иванова.

Выходя из столовой, мы задержались у меня, повешенного на стенке у входной двери, и успели прочесть: «Винегрет и чай с сушками».

— Вот так еда! — разочарованно потянула Маня. — Кто хочет мою порцию винегрета за пучок сушек?

— Стыдись, ты говеешь! — покачала головой серьезная Додо.

— Я мытарь, а не фарисей, который делает все напоказ, — съязвила Иванова.

— Не ссорьтесь, mesdam'очки, — остановила их Краснушка, пригладившая особенно старательно свои огненно-красные вихры.

В классе нам роздали книжки божественного содержания: тут было житие св. великомученицы Варвары, преподобного Николая Чудотворца, Андрея Столпника и Алексея человека Божия, Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Мы затихли за чтением.

Когда Нина читала мне ровным и звонким голосом о том, как колесовали нежное тело Варвары, в то время как праведница распевала хвалебные псалмы своему Создателю, у меня невольно вырвалось:

— Боже мой, как страшно, Ниночка!

— Страшно? — недоумевая, проговорила она, отрываясь на минуту от книги. — О, как я бы хотела пострадать за Него!

В десять часов нас повели в церковь — слушать часы и обедню. Уроков не полагалось целую неделю, но никому и в голову не приходило шалить или дурачиться — все мы были проникнуты сознанием совершающегося в нас таинства. После завтрака Леночка Корсак пришла к нам с тяжелой книгой Ветхого и Нового завета и читала нам до самого обеда. Обед наш состоял в этот день из жидких щей со сметками, рыбьих котлет с грибным соусом и оладий с патокой. За обедом сидели мы необычайно тихо, говорили вполголоса.

Всенощная произвела на меня глубокое впечатление: темные, траурные ризы священнослужителей, тихо мерцающие свечи и протяжно-заунывное великопостное пение — все это не могло не запечатлеться в чуткой, болезненно-восприимчивой душе.

Наступила пятница — день исповеди младших. С утра нас охватило волнение, мы бегали друг к другу, прося прощения в невольно или умышленно нанесенных обидах.

— Прости меня, Надя, я назвала тебя в субботу «жадиной» за то, что ты не уступила мне крылышка тетерьки.

— Бог простит, — отвечала умиленная Надя, и девочки крепко целовались.

— Что мне делать, ведь я называла твою Ирочку белобрысой шведкой? — чистосердечно, смущенная, покаялась я Нине.

Та готова была вспыхнуть как спичка, но, вспомнив о сегодняшнем дне, сдержалась и проговорила сдержанно:

— Надо извиниться.

Едва услышав мнение Нины, я помчалась на старшую половину и, увидя гулявшую по коридору Трахтенберг в обществе одной из старших институток, смело подошла к ней со словами:

— Простите, мадмуазель, я бранила вас за глаза...

— За что же? — улыбнулась она. — Я не сделала тебе ничего дурного.

«Да, не сделали, а разве не отнимали у меня Нину и разве не мучили ее своею холодностью?..» — готово было сорваться с моего языка, но я вовремя опомнилась и молча приложила губами

к бледной щеке молодой девушки.

— Вперед не грехи, — крикнула мне вслед спутница Иры, но ее насмешка мало тронула меня.

Я была вся под впечатлением совершенного мною хорошего поступка и охотно простила бы даже крупное зло.

Нас повели просить прощения у начальницы, инспектрисы, инспектора и недежурной дамы.

Еленина прочла нам подобающую проповедь, причем все наши маленькие шалости выставила чуть ли не преступлениями, которые мы должны были замаливать перед Господом. Начальница на наше «Простите, Маман» просто и кротко ответила: «Бог вас простит, дети». Инспектор добродушно закивал головою, не давая нам вымолвить слова. Зато Пугач на наше тихое, еле слышное от сознания полной нашей виновности перед нею «простите» возвела глаза к небу со словами:

— Вы очень виноваты предо мною, mesdames, но если сам Господь Иисус Христос простит вам, могу ли не сделать этого я, несчастная грешница!

И опять глаза, полные слез, поднялись в потолок.

— Экая комедиантка! — вырвалось у Бельской, когда мы, смущенные неприятной сценой, вышли из ее комнаты.

— Белка, как можешь ты так говорить, ведь ты говеешь! — сказала, толкнув ее под руку, Краснушка.

— Mesdames, идите исповедоваться, — звонко крикнула нам поавшаяся по дороге институтка. — Наши все уже готовы.

Мы не без волнения переступили порог церкви.

Институтский храм тонул в полумраке. Немногие лампы слабо освещали строгие лики иконостаса, рельефно выделяющиеся из-за золотых его рам. На правом клиросе стояли ширмы, скрывавшие аналой с крестом и Евангелием и самого батюшку.

Нас поставили по алфавиту шеренгами и тотчас же три первые девочки отделились от класса и опустились на колени перед иконостасом.

Между ними была и Бельская. Прежде чем пойти на амвон, она, еще раз оглянувшись на класс, шепнула «простите» каким-то новым, присмирившим голосом.

— Строго спрашивает батюшка? — в десятый раз спрашивали мы Киру, исповедовавшуюся уже прошлый год.

— Справедливо, как надо, — отвечала она и погрузила взгляд на страницы молитвенника.

— Влассовская, Гардина и Джаваха, — шепотом позвала нас Fraulein, и мы заняли освободившееся место на амвоне.

Я стояла как раз перед образом Спасителя с правой стороны Царских врат. На меня строго смотрели бледные, изможденные страданием, но спокойные, неземные черты Божественного Страдальца. Терновый венок вонзился в эту кроткую голову, и струйки крови бороздили прекрасное, бледное чело. Глаза Спасителя смотрели прямо в душу и, казалось, видели

насквозь все происходившее в ней.

Меня охватил наплыв невыразимого, захватывающего, восторженного молитвенного настроения.

— Боже мой, — шептали мои губы, — помоги мне! Помоги, Боже, сделаться доброй, хорошей девочкой, прилежно учиться, помогать маме... не сердиться по пустякам!

И мне казалось, что Спаситель слышит меня, и по этому светлому лику, устремленному на меня, я чувствовала, что моя молитва угодна Богу.

— Господи, — уже в неудержимом восторге шептала я, — как хочется прощать, весь мир прощать! Как жаль, что у меня нет врагов, а то бы я их обняла, прижала к сердцу и простила бы, не задумываясь, от души.

— Люда! Твоя очередь, — шепнул мне знакомый голос.

Я мельком взглянула на говорившую. Нина это или не Нина? Какое новое, просветленное лицо! Какая новая, невиданная мною духовная красота! Глаза не сверкают, как бывало, а льют тихий, чуть мерцающий свет. Они глубоки и недетски серьезны...

— Иди, Люда, — еще раз повторила она и опустила на колени перед образом Спасителя.

Я робко вступила на клирос. На стуле за ширмой сидел батюшка. Добрая улыбка не освещала в этот раз его приветливого лица, которое в данную минуту было сосредоточенно-серьезно, даже строго.

Я молча приблизилась к аналою и, встав на колени, почувствовала на голове моей большую и мягкую руку моего духовника.

Началась исповедь. Он спрашивал меня по заповедям, и я чистосердечно каялась в моих грехах, сокрушаясь в их, как мне тогда казалось, численности и важности.

«Боже великий и милосердный! Прости меня, прости маленькую грешную девочку», — выстукивало мое сердце, и по лицу текли теплые, чистые детские слезы, мочившие мою пелеринку и руки священника.

— Все? — спросил меня отец Филимон, когда я смолкла на минуту, чтобы припомнить еще какие-нибудь проступки, казавшиеся мне такими важными грехами.

— Кажется, все! — робко произнесла я.

— Прощаются и отпускаются грехи отроковицы Людмилы, — прозвучал надо мною тихий голос священника, и голову мою покрыла епитрахиль, сверх которой я почувствовала сделанный батюшкой крест на моем темени.

Взволнованная и потрясенная, я вышла из-за ширмочек и преклонила колена перед образом Спаса.

И вдруг мой мозг прорезала острая как нож мысль: я забыла один грех! Да, положительно забыла. И быстро встав с колен, я подошла к прежнему месту на амвоне и попросила стоявших там девочек пустить меня еще раз, не в очередь, за ширмы. Они дали свое согласие, и я более твердо и спокойно, нежели в первый раз, вошла туда.

— Батюшка, — дрожащим шепотом сказала я отцу Филимону, поднявшему на меня недоумевающий взгляд, — я забыла один грех.

Отец Филимон с удивлением посмотрел на меня и тихо сказал:

— Говори.

— Я бросала за обедом хлебными шариками в моих подруг... пренебрегала даром Божиим... я грешна, батюшка, — торопливо произнесла я.

Что-то неуловимое скользнуло по лицу священника. Он наклонился ко мне и погладил рукою мою пылающую голову. И опять дал мне отпущение грехов, покрыв меня во второй раз епитрахилью.

Когда мы вышли торжественно и тихо из церкви, нам попались навстречу старшие, спускавшиеся пить чай в столовую.

— «Седьмушки» святые! Mesdames! Святые идут! — сказала одна из них.

Но никто не ответил ни слова на неуместную шутку. Она оскорбила каждую из нас, как грубое прикосновение чего-то нечистого. Мы прошли прямо в дортуар, отказавшись от вечернего чая, чтобы ничего не брать в рот до завтрашнего причастия.

Приобщались мы на другой день в парадных батистовых передниках и новых камлотовых платьях.

Было прелестное солнечное утро. Золотые лучи играли на драгоценных ризах и на ликах святых, смягчая их суровые подвижнические черты...

Та же тишина, как и перед исповедью, то же торжественное настроение...

«А вдруг оттолкнет перед Святой чашей? — думала каждая из нас. — Или рот закроется и не даст возможности проговорить своего имени духовнику?»

В нашей памяти живо было предание, передаваемое одним поколением институток другому, о двух сестрах Неминых, находившихся в постоянной вражде между собою и не пожелавших помириться даже перед причастием, за что одну сверхъестественной силой оттолкнуло от Святой чаши, а другая не могла разжать конвульсивно сжавшегося рта. Так обе злые девочки и не были допущены к причастию.

И каждая из нас, трепеща и замирая, сложив крестообразно на груди руки, подходила к чаше, невольно вспоминая случай с Немиными.

Но ничего подобного в этот раз не произошло...

После причастия нас поздравляло начальство и старшие. Все были как-то особенно близки и дороги нам в этот день. Хотелось радостно плакать и молиться. А природа для большей торжественности слала на землю теплые лучи — предвестников недалекой весны...

Глава XX. Больная. Сон. Христос Воскресе!

Нина сказала правду, что второе полугодие пронесется быстро, как сон... Недели незаметно мелькали одна за другою... В институтском воздухе, кроме запаха подсолнечного масла и

сушеных грибов, прибавилось еще еле уловимое дуновение начала весны. Форточки в дортуарах держались дольше открытыми, а во время уроков чаще и чаще спускались шторы в защиту от посещения солнышка. Снег таял и принимал серо-желтый цвет. Мы целые дни проводили у окон, еще наглухо закрытых двойными рамами.

На черных косах княжны красовался опять белый шнурок за отличное поведение, а имя ее снова было занесено на красную доску. У меня на душе было легко и радостно. Близость весны, а за нею желанного лета заставляла радостно трепетать мою детскую душу. Одно меня беспокоило: здоровье княжны. Она стала еще прозрачнее и вся точно сквозила через нежную, бледную, с еле уловимым желтоватым отливом кожу. Глаза ее стали яркими-яркими и горели нестерпимым блеском. Иногда на щеках Нины вспыхивали два буро-красных пятна румянца, пропадавшие так же быстро, как и появлялись. Она кашляла глухо и часто, хватаясь за грудь. Начальство особенно нежно и ласково относилось к ней. Два или три раза Маман присылала за нею звать кататься в своей карете. Институтки, особенно чуткие к несчастью подруг, старались всеми силами оказать своей любимице всевозможные знаки любви и дружбы.

Частая раздражительность Нины, ее капризы, которые стали проявляться вследствие ее болезни, охотно прощались бедной девочке... Даже Ирочка — надменная, своенравная шведка — и та всеми силами старалась оказать особенное внимание Нине. По воскресеньям на тируаре княжны появлялись вкусные лакомства или фрукты, к которым она едва прикасалась и тотчас раздавала подругам, жадным до всякого рода лакомств.

И вот однажды случилось то, чего никто не ожидал, хотя втайне каждой из нас невольно приходило в голову: княжна окончательно заболела и слегла.

Мне ясно припоминается субботний ясный полдень вербной недели. У нас был последний до Пасхи урок — география. Географию преподавал старик учитель, седой и добродушный на вид, говоривший маленьким «ты» и называвший нас «внучками», что не мешало ему, впрочем, быть крайне взыскательным, а нам бояться его как огня. Урок уже приходил к концу, когда Алексей Иванович (так звали учителя) вызвал Нину.

— А ну-ка, внучка, позабавь! — добродушно произнес он.

Как сейчас помню карту, всю испещренную реками, горами и точками городов, помню особенно бледную княжну, вооруженную черной линейкой, которою она водила по карте, указывая границы:

— Берингов пролив, Берингово море, Охотское море... — звучал слабо и глухо ее милый голосок.

Вдруг страшный припадок удушливого кашля заставил смолкнуть бедняжку. Она схватилась за грудь и поднесла платок к губам. На белом полотне резко выделились две кровавые кляксы.

— Мне худо! — еле слышно прошептала Нина и упала на руки подоспевшей фрейлейн.

Все помутилось у меня в глазах — доски, кафедра, карта и сам Алексей Иванович, — все завертелось, закружилось передо мною. Я видела только одну полубесчувственную княжну на руках фрейлейн. Спустя несколько минут ее унесли в лазарет... Разом светлое настроение куда-то исчезло, и на место его тяжелый мрак воцарился у меня на душе... Я инстинктом почувствовала, что Нина больна, и опаснее, чем мы предполагали.

Весь день я не находила себе места. Меня не развлекали присланные нам старшими, ездившими на вербы, гостинцы: халва, рахат-лукум и впридачу к ним баночки с прыгающими

американскими жителями, занявшими на целый вечер моих товаров.

В шесть часов лазаретная девушка Маша принесла мне записку, исписанную знакомыми и милыми крупными каракульками.

«Приди ко мне, дорогая Люда, — писала мне моя верная подруга, — я очень скучаю. Попросись у фрейлейн на весь вечер — ведь уроки кончились и ты свободна.

Твоя навеки Нина».

Я поспешила исполнить ее просьбу.

Княжна помещалась в маленькой комнатке, предназначавшейся для труднобольных. Она сидела в большом кресле у окна. Я едва узнала ее в белом лазаретном халате с беспорядочно спутанной косой.

Когда я вошла к ней, она тихо повернула ко мне бледное, измученное личико и проговорила, слабо улыбаясь:

— Ты прости, Люда, что я тебя потревожила... Мне так хотелось тебя видеть, дорогая моя!

Я проглотила подступившие слезы и поцеловала ее.

— Ах, скорее бы тепло, — тоскливо шептала княжна, — мне так не хочется хворать... весна меня вылечит... наверное вылечит... Скорее бы на Кавказ... там тепло... солнце... горы... Знаешь, Люда, мне иногда начинает казаться, что я не увижу больше Кавказа.

— Что ты, что ты, Нина, можно ли так! — пробовала я успокоить мою бедную подругу.

Мы проболтали с нею целый вечер, промелькнувший быстро и незаметно...

В 8 часов я вспомнила, что наши, наверное, уже на молитве, и, поцеловав наскоро Нину, опрометью бросилась из лазарета.

Наступила страстная неделя... Наши начали понемногу разъезжаться. Живущие вне города и в провинции распускались раньше, городские жительницы оставались до четверга в стенах института. Наконец и эти последние с веселым щебетаньем выпорхнули из скучных институтских стен. И на Пасху, как и на Рождество, остались те же самые девочки, кроме Киры, ловко избежавшей на этот раз наказания. Та же задумчивая Варя Чикунина, хорошенькая Лер и на этот раз оставшаяся на праздники Бельская составляли наше маленькое общество. А в нижнем этаже, в лазарете, в маленькой комнатке для труднобольных, встречала одиноко Светлый праздник моя бедная голубка Нина.

Мамина пасхальная посылка опоздала на этот раз, и я получила ее только в великую субботу. Поверх куличей, мазурок, плясок и баб аршинного роста, на которые так искусна была наша проворная Катря, я с радостью заметила букетик полузавядших в дороге ландышей — первых цветов милой стороны. Я позабыла куличи, пасхи и окорок чудесной домашней свинины, заботливо упакованные мамой в большую корзину, и целовала эти чудные цветочки — вестники южной весны... Еле дождалась я звонка, чтобы бежать к Нине...

— Угадай-ка, что я принесла тебе! — радостно кричала я еще в дверях, пряча за спиной заветный букетик.

Нина, сидевшая за книгой, подняла на меня свои черные, казавшиеся огромными от чрезвычайной худобы глаза.

— Вот тебе, Нина, мой подарок! — И белый букетик упал к ней на колени.

Она быстро схватила его и, прижав к губам, жадно вдыхала тонкий аромат цветов, вся покрасневшись от счастья.

— Ландыши! Ведь это весна! Сама весна, Люда! — скоро-скоро говорила она, задыхаясь.

Я давно уже не видела ее такой возбужденной и хорошенькой... Она позвала Матеньку, заставила ее принести воды и поставила цветы в стакан, не переставая любоваться ими.

Я рассказала ей, что эти цветы прислала мне добрая мама «впридачу» к пасхальной посылке.

— Когда ты будешь писать маме, то поцелуй ее от меня и скажи, что я ее очень-очень люблю! — сказала Нина, выслушав меня.

Мы молча крепко поцеловались.

Какая-то новая, трогательно-беспомощная сидела теперь передо мною Нина, но мне она казалась вдесятеро лучше и милее несколько гордой и предприимчивой девочки, любимицы класса...

До заутрени нас повели в дортуар, где мы тотчас же принялись за устройство пасхального стола. Сдвинув, с позволения классной дамы, несколько ночных столиков, мы накрыли их совершенно чистой простыней и устали присланными мне мамой яствами. Затем улеглись спать, чтобы бодро встретить наступающий Светлый праздник.

Станный сон мне приснился в эту ночь. Этот сон остался в памяти моей на всю мою жизнь. Я видела поле, все засеянное цветами, издающими чудный, тонкий аромат, напоминающий запах кадильницы. Когда я подходила к какому-нибудь цветку, то с изумлением замечала маленькое крылатое существо, качающееся в самой чашечке. Присмотревшись к каждому из существ, я увидела, что это наши «седушки», только чрезвычайно маленькие и как бы похорошевшие. Вот Бельская, Федорова, Гардина, Краснушка, Кира — одним словом, все, все величиною с самых маленьких французских куколок. И сама я такая же маленькая и прозрачная, как и они, а сзади меня такие же легонькие блестящие крылышки.

— Люда! — слышится мне слабый, точно шелест листьев от ласки ветра, голосок. — Люда, подожди меня!

Маленький крылатый эльф догоняет меня, протягивая руки. Это Нина, ее глаза, ее лицо, ее косы.

В ту же минуту остальные эльфы окружают нас, и мы вертимся в большом хороводе... Мы все легки и прозрачны, все без труда поднимаемся на воздух, но никак не можем поспеть за хорошеньким, грациозным эльфом, более прозрачным, нежели мы, с головкой и чертами Нины. Она поднимается выше и выше в воздушной пляске. Скоро мы едва можем достать до нее руками, и, наконец, она поднялась над нами так высоко, вся сияя каким-то точно солнечным сиянием, и вскоре мы увидели ее тонущей в голубой эмали неба.

— Нина, Нина! — звали маленькие эльфы, не переставая кружиться.

Но было уже поздно... Налетело облако и скрыло от нас нашего крылатого друга...

Я проснулась от мерных ударов колоколов соседних с институтом церквей.

— Скорее, скорее! — кричали, торопя, мои подруги, наскоро освежая лицо водою и надевая все чистое.

Я почему-то умолчала о виденном мною сне и вместе с остальными девочками поспешила в церковь...

Все уже были в сборе, когда мы, младшие, заняли свои места. Светлое облачение, крестный ход по всем этажам института, наряды посторонних посетителей, ленты и звезды увешанных орденами попечителей — все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Когда же священник, подошедший к плотно закрытым царским вратам, возгласил впервые: «Христос Воскресе!» — сердце мое екнуло и затрепетало так сильно, точно желая выпрыгнуть из груди...

— Христос Воскресе! — обратился отец Филимон трижды к молящимся и получил в ответ троекратное же: «Воистину Воскресе!»

Тотчас же после заутрени нас увели разговляться, между тем как старшие должны были достоять пасхальную обедню.

В столовой мы почти не притронулись к кисловатой институтской пасхе и невкусному куличу. Наверху, в дортуаре, нас ждало наше собственное угощение. «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» — обменивались мы пасхальным приветствием...

Лер приготовила нам всем четверым по шоколадному яичку, чуть не насмерть разозлив Пугача (у которого хранились ее деньги) безумным транжирством. Варя подарила всем по яичку из глицеринового мыла, а Бельская разделила между нами четыремя скопленные ею за целую зиму картинки — ее единственное достояние.

— А я-то ничего не приготовила! — смутилась я.

— Твое будет угощение! — поспешили утешить меня подруги и принялись за разговорье.

— Знаете, mesdam'очки, — предложила Лер, — не позвать ли нам фрейлейн?

— Ну вот, она стеснит только, — решила Бельская.

— Ах нет, душки, позовите, — вмешалась кроткая Варя, — каково ей одной, бедняжке, разговляться в своей комнате.

Мы как по команде вскочили и бросились в комнату фрейлейн.

Она, действительно грустная, одинокая, готовилась встречать Светлый праздник, и наше предложение было как нельзя более кстати.

Она охотно разделила наше скромное пиршество, шутя и болтая как равная нам.

Мне взгрустнулось при воспоминании о Нине, не спавшей, может быть, в эту пасхальную ночь.

— Фрейлейн, — робко обратилась я к немке, — могу я сейчас сбегать в лазарет к Джавахе? Ведь она совсем одна!

— А если она спит?

— Нет, фрейлейн, Нина не будет спать в эту ночь, — убежденно проговорила я. — Она ждет меня, наверное, ждет.

— Ну тогда Бог с тобою, иди, моя девочка, только тихонько, не шуми и, если княжна спит, не буди ее. Слышишь?

Я не ошиблась. Княжна лежала с широко открытыми глазами, и, когда я вошла к ней, она нимало не удивилась, сказав:

— Я знала, что ты придешь.

К моему великому огорчению, она не пожелала попробовать ничего из принесенной мною от нашего разговенья Катриной стряпни и только радостно смотрела на меня своими мерцающими глазами.

Я рассказала Нине о моем сне.

Ее охватило какое-то странное, лихорадочное оживление.

— Ты говоришь: я полетела от вас, да? Знаешь ли, что это значит, Люда?

— Что, милая?

— Да то, что Мапан, наверное, отпустит меня до экзаменов и я увижу Кавказ скоро-скоро. Я поднимусь высоко в наши чудные Кавказские горы и оттуда, Люда, pošлю тебе мой мысленный горячий поцелуй!

Как она хорошо говорила! В ее несколько образной, всегда одушевленной речи сквозила недюжинная, не по летам развитая натура. Я слушала Нину, вдохновившуюся мыслями о далекой родине, и в моем воображении рисовались картины невиданной, увлекательной страны...

Мы проболтали часов до пяти. И только возвращение от обедни лазаретного начальства заставило меня уйти от нее и вернуться в дортуар, где я быстро уснула здоровым детским сном.

Праздник Пасхи прошел скучнее Рождества. Многие из нас, ввиду близких экзаменов, взялись за книги. Одна Бельская, «неунывающая россиянка», как ее прозвал в шутку Алексей Иванович, и не думала заниматься.

— Бельская! — окликивала ее, погружившуюся в какую-нибудь фантастическую правду-сказку, всегда бдительно следившая за всеми нами фрейлейн. — Ты останешься в классе на второй год, если не будешь учиться: у тебя двойка из географии.

— Ах, фрейлейн-дуся, — восторженно восклицала Бельская, — как они дерутся!

— Кто дерется? — в ужасе спрашивала фрейлейн, прислушиваясь к шуму в коридоре.

— Да дикие! — захлебывалась наша Белка, показывая на картинку в своей книге.

— Ах, dummes Kind (глупое дитя), вечные шалости! — И фрейлейн укоризненно качала головою.

Несколько раз водили нас гулять, показывали Зимний дворец и Эрмитаж. Мы ходили, как маленькие дикарки, по роскошным громадным залам дворца, поминутно испуская возгласы удивления и восторга. Особенно неизгладимое впечатление произвела на меня большая, в человеческий рост, фигура Петра I в одной из обширных зал Эрмитажа. Из окон открывался чудный вид на Неву, еще не освободившуюся от ледяной брони, но уже яростно борющуюся за свою свободу.

В воскресенье вернулись с пасхальных каникул наши подруги. Кое-кто привез нам яйца и домашние яства. Всюду раздавались громкие приветствия, поцелуи, сопровождавшиеся возгласом: «Христос Воскрес!»

А на классной доске наш добродушный толстяк инспектор писал уже страшное для нас расписание экзаменов...

Глава XXI. Экзамены. Чудо

Сад еще не оделся, но почки лип уже распустились и издавали свой пряный аромат. Весело чирикали птицы в задней аллее. Зеленела нежная, бархатистая травка...

И в нашей внешности тоже произошла перемена: безобразные желтые клеки и капоры сменились довольно сносными осенними темно-зелеными пальто и белыми полотняными косыночками.

Мы готовились к экзамену Закона Божия. Целые дни, теперь свободные от уроков, мы проводили с книгами и программами в саду, сидя в самых укромных уголках его, или лихорадочно быстро шагали по аллеям, твердя в то же время историю многострадального Иова или какой-нибудь канон празднику. Столкнутся две девочки или две группы, и сейчас же зазвучат вопросы: «Который билет учите?» — «А вы?» — «Ты Ветхий прошла?» — «А ты?» — «Начала молитвы!» Более сильные ученицы взяли на свое попечение слабых и, окруженные целыми группами, внятно и толково рассказывали священную историю или поясняли молитвы.

На мою долю выпало заниматься с Ренн. Но после первых же опытов я признала себя бессильной просветить ее глубоко заплесневший ум. Я прочла и пояснила ей некоторые истории и, велев их выучить поскорее, сама углубилась в книгу. Мы сидели на скамейке под кустом уже распустившейся бузины. Вокруг нас весело чирикали пташки. Воздух потянул ветерком, теплым и освежающим. Я оглянулась на Ренн. Губы ее что-то шептали. Глаза без признака мысли были устремлены в пространство.

— Ренн, — окликнула я ее, — Ренн, учись!

Она неторопливо повернула голову и перевела на меня те же бессмысленные глаза.

— А что?

— Как «что»? — возмутилась я и даже вся покраснела. — Ведь ты провалишься на экзамене.

— Провалюсь, — певуче и равнодушно согласилась она.

— Останешься в классе, — продолжала я.

— Останусь, — спокойно ответила она.

Я начинала серьезно раздражаться и крикнула ей с сердцем:

— И тебя исключат!

— Исключат, — как эхо отозвалась Ренн.

— Да что ж тут хорошего?

— Не стоит учиться, — брякнула она и так же равнодушно отвернула от меня голову.

— Что ж ты будешь делать недоучкой-то? — осведомилась я, перестав даже сердиться от неожиданности.

— Дома жить буду, огород разведу в имении, цветы, булки буду печь, варенье варить, — я очень хорошо все это умею, — а потом...

— А потом? — перебила я.

— Замуж выйду! — закончила она простодушно и стала следить за какой-то ползущей в траве золотистой букашкой.

Я засмеялась. Рассуждения четырнадцатилетней девочки, «бабушки класса», как мы ее называли (она была старше нас всех), несказанно рассмешили меня. Однако оставить ее на произвол судьбы я не решилась, и с грехом пополам мы прошли с Ренн историю Нового, Ветхого завета и необходимые молитвы. А время не шло, а бежало...

Наступил день первого и потому особенно страшного для нас экзамена. Хотя батюшка был очень добр и снисходителен, но кроме него присутствовали и другие ассистенты-экзаменаторы, в том числе чужой священник, с академическим знаком и поразительно розовым лицом, пугавший нас своим строгим, несколько насмешливым видом.

— Все билеты успела пройти? — спросила меня Даша Муравьева, взглядывая на меня усталыми от долбежки глазами.

— Все... Меня вот только Ренн беспокоит. Ведь она провалится...

— Конечно, провалится! — убежденно подтвердила Додо.

В 9 часов утра в класс вошли начальство и экзаменаторы-ассистенты. После прочитанной молитвы «Пред учением» все разместились за длинным зеленым столом, и отец Филимон, смешав билеты, начал вызывать воспитанниц. Он был в новой темно-синей рясе и улыбался ласково и ободряюще. «Сильные» вызывались в конце, «слабых» же экзаменовали раньше.

— Мария Запольская, Клавдия Ренн, Раиса Бельская, — немного певучими носовыми звуками произнес отец Филимон.

Все вызванные девочки считались самыми плохими ученицами.

— Выучила все? — шепотом спросила я проходившую мимо меня Краснушку. В ответ она только лихо тряхнула красной маковкой.

Экзаменаторы, ввиду крайней тупости Ренн, предлагали ей самые легкие и доступные вопросы, на которые она едва-едва отвечала. Я мучительно волновалась за свою невозможную ученицу.

Мама, видевшая на своем веку не один десяток поколений институток, не утерпела: с едва

заметной улыбкой презрения она заметила, что такой лентяйки, как Ренн, ей не встречалось до сих пор. Батюшка, добрый и сердечный, никогда ни на что не сердившийся, неодобрительно покачал головою, когда Ренн объявила экзаменующим, что Ной был сын Моисея и провел три дня и три ночи во чреве кита. Отец Дмитрий, чужой священник с академическим знаком, насмешливо усмехался себе в бороду.

— Довольно, пощадите нас! — вырвалось у Мамап раздраженное восклицание, и она отпустила Ренн на место.

Последняя без всякого смущения села на свою лавку. Ничем не нарушимое спокойствие сияло на ее довольном, сытом и тупом лице.

Ренн провалилась, в этом не могло быть сомнения.

Меня охватило какое-то глухое раздражение, почти ненависть против этой маленькой лентяйки.

Между тем вызывали все новых и новых девочек, отвечавших очень порядочно. Закон Божий старались учить на лучший балл — 12. Тут имела значение не одна детская религиозность; уж очень мы любили нашего доброго батюшку.

— Людмила Влассовская, — чуть ли не последнюю вызвал меня наконец отец Филимон.

Я была слишком уверена в себе, чтобы бояться... но невольно дыхание мое сперло в груди, когда я потянула к себе беленький билетик... На билетике стоял Э 12: «Бегство иудеев из Египта». Эту историю я знала отлично, и, ощутив в душе сладостное удовлетворение, я не спеша, ровно и звонко рассказала все, что знала. Лицо Мамап ласково улыбалось; отец Филимон приветливо кивал мне головою, даже инспектор и отец Дмитрий, скептически относившийся к экзаменам «седьмушек», не без удовольствия слушали меня...

Я кончила.

Мне предложено было прочесть тропарь празднику Крещения и перевести его со славянского языка, что я исполнила без запинки с тою же уверенностью и положительностью, которые невольно приобретаются с познаниями.

— Отлично, девочка, — прозвучал ласковый голос княгини.

— Хорошо, очень хорошо! — подтвердил инспектор.

«Наш» батюшка только улыбнулся мне, а «чужой» часто и одобрительно закивал головою.

Экзамен кончился.

Мы гурьбою высыпали из класса и в ожидании чтения отметок ходили по коридору. А в классе в это время обсуждались наши ответы и ставились баллы. Мне было поставлено 12 с плюсом.

— Если б принято было со звездой ставить, я бы звезду поставил, — пошутил инспектор.

Злосчастная Ренн получила 6 — неслыханно плохую отметку по Закону Божию!..

Один экзамен сбыли. Оставалось еще целых пять, и в том числе география, которая ужасно смущала меня. География мне не давалась почему-то: бесчисленные наименования незнакомых рек, морей и гор не укладывались в моей голове. К географии, к тому же, меня не

подготовили дома, между тем как все остальные предметы я прошла с мамой. Экзамен географии был назначен по расписанию четвертым, и я старалась не волноваться. А пока я усердно занялась следующим по порядку русским языком.

От Ренн, несмотря на все мои человеколюбивые помыслы, я открещивалась обеими руками. «Только отнимет она от меня даром время, а толку не будет», — успокаивала я как могла мою возмущившуюся было совесть. И действительно, Ренн отложила всякое попечение об экзаменах, почти совсем перестала готовиться и погрузилась в рисование каких-то домиков и зверей, в чем, надо ей отдать справедливость, она была большая искусница.

«Русский» экзамен сошел точно так же, как и Закон Божий.

Готовились добросовестно. «Стыдно проваливаться на родимом языке», — говорили девочки и, как говорится, «поддали жару».

Зато следующий за ним французский экзамен был полон ужасов для несчастного monsieur Ротье, которому приходилось краснеть за многих своих учениц. Уж не говоря о Ренн, которая на тарабарском наречии несла всевозможную чушь перед зеленым столом, провалились еще три или четыре девочки, в том числе Бельская и Краснушка, недурно учившаяся по этому предмету. Последняя горько плакала о своей неудаче после экзамена и чуть не отклонила предложенной ей переэкзаменовки. Однако мы не допускали мысли лишиться этой веселой, умной и доброй товарки, успевшей завоевать симпатию класса, и заставили ее просить о переэкзаменовке.

Провалилась и Иванова, но на нее мы не обратили внимания; Иванову не любили за ее подлизывание перед Крошкой и невероятную жадность.

Бельская, много исправившаяся за последнее время, мало горевала о своем провале.

— Не повезло на французском экзамене, так на другом повезет, — улыбалась она сквозь гримасу досады.

А сад между тем оделся в свой зеленый наряд. Лужайки запестрели цветами. Пестрые бабочки кружились в свежем, весеннем воздухе. Уже балкон начальницы, выходящий на главную площадку, обили суровым холстом с красными разводами, — приготавливаясь к лету.

На лазаретную веранду выпускались больные, и в том числе моя Нина, ставшая еще бледнее и прозрачнее за последнее время. Она сидела на балконе, маленькая и хрупкая, все ушедшая в кресло, с пледом на ногах. Мы подолгу стояли у веранды, разговаривая с нею. Ее освободили от экзаменов, и она ожидала того времени, когда улучшение ее здоровья даст возможность телеграфировать отцу — приезжать за нею.

— Ну что? Как экзамены? — было первым ее вопросом, когда я прибегала к ней в лазарет, урвав две-три свободные минутки.

Она интересовалась ходом институтской жизни, и я рассказывала ей все малейшие происшествия, печально убеждаясь, как быстро менялось все к худшему и худшему это милое, болезненно-прелестное личико.

И голосок ее изменился — гортанный, серебристый голосок...

Наступил наконец и день экзамена географии. Передо мною лежал длинный лист, на котором были записаны все 30 вопросов, занесенных, по обыкновению, на экзаменационные билетки,

но в данные нам три дня для подготовки я почти ничего не успела сделать. Мама прислала мне длинное, подробное письмо о житье-бытье на нашем хуторе, писала о начале полевых работ, о цветущих вишневых и яблоневых деревьях, о песнях соловки над окном ее спальни — и все это не могло не взволновать меня своей прелестью. Быстрая, теплая волна охватила меня, захлестнула и унесла далеко на родной юг, на милую Украину. Вместо того чтобы повторять географию, я сидела задумавшись, забыв о географии, погруженная в мои мечты о недалеком будущем, когда я опять увижу дорогой родной хуторок, маму, Васю, Гапку... Часы летели, а число выученных билетов не прибавлялось.

Накануне предстоящего экзамена по географии я точно пробудилась от сладкого сна, пробудилась и... ужаснулась. Я знала всего только десять билетов из тридцати, составлявших наш курс!

Меня охватил ужас.

— Провалюсь... провалюсь... — шептали мои губы беззвучно, а ноги и руки холодели от страха.

Что было делать? Выучить всю программу, все тридцать билетов в один день было невысказано. К тому же волнение страха лишало меня возможности запомнить всю эту бесконечную сеть потоков и заливов, гор и плоскогорий, границ и рек, составляющую «программу» географии. Не долго думая, я решила сделать то, что делали, как я знала, многие в старших классах: повторить, заучить хорошенько уже пройденные десять билетов и положиться на милость Божию. Так я и сделала.

Когда вечером мы спустились к чаю, наши поразилась моим бледным, взволнованным лицом и возбужденными, красноватыми глазами.

— Ты плакала, Люда? — спросила Лер.

— Я училась.

— Все, конечно, прошла?

— Все! — солгала я чуть не в первый раз в жизни и мучительно покраснела.

Но никто не заметил румянца, вспыхнувшего на моих щеках, да если бы и заметили, то, конечно, не угадали бы причины. Я была «парфеткой», «хорошей ученицей», и поэтому считалось невозможным, чтобы я не прошла всего курса.

В душе моей было тяжело и непокойно, когда я легла на жесткую институтскую постель; я долго ворочалась, не переставая думать о завтрашнем дне. Тоскливо замирало мое бедное сердце.

Только под утро я забылась, но не сном, а, вернее, дремотой, полной кошмаров и безобразных видений.

Я проснулась с тяжелой головой и назойливой, как оса, мыслью: сегодня экзамен по географии!

В умывальной шла оживленная беседа.

— Варюша Чикунина! — крикнула я нашему Соловушке, пользовавшемуся славою гадалки, так как она часто с поразительной точностью предсказывала билеты перед экзаменами.

— Что тебе, Люда?

— Предскажи мне билет, — попросила я ее.

Она серьезно, пристально взглянула мне в зрачки своими умными, кроткими глазами и отчеканила: «Десятый».

Я побледнела. Десятый билет я знала хуже прочих и потому немедленно схватилась за книгу и прочла его несколько раз...

До экзамена оставалось полчаса. Волновавшиеся донельзя девочки (учитель географии Алексей Иванович не отличался снисходительностью) побежали к сторожу Сидору просить его открыть церковные двери, желая помолиться перед экзаменом. Он охотно исполнил наше желание, и я вместе с подругами вошла под знакомые своды.

Лик Николая Чудотворца — строгий и суровый — глянул на меня из-за золота иконостаса. Я вспомнила, что мама всегда молилась этому святому, и опустилась перед ним на колени.

Но мне точно не хотелось молиться. Все мои чувства и мысли поражены были страхом перед предстоящим экзаменом — отчаянным, безнадежным страхом, доходящим до тупого уныния.

Однако, по мере того как я пристально и внимательно вглядывалась в строгие черты святого, я уже не находила в нем того выражения суровости, которое поразило меня вначале. Казалось, глаза угодника ласково и серьезно спрашивали: «Что надо этой маленькой девочке, преклонившей перед ним колена?»

Я стала молиться или, вернее, просить, всей душой и сердцем просить, умоляя помочь мне, отвести беду. С наивною и робкою мольбою стояла я перед образом, судорожно сжимая руки у самого подбородка, так что хрустели хрупкие маленькие пальцы. Судорога сжимала мне горло. В груди закипали рыдания... Я зажимала губы, чтобы не дать вырваться крику испуга... Мои мысли твердили в пылавшем мозгу: «Помоги, Боже, помоги, помоги мне! Я знаю только первые десять билетов!»

Не помню, долго ли простояла я так, но когда вышла из церкви, там никого из институток уже не было... Я еще раз упала на колени у церковного порога со словами: «Помоги, Боже, молитвою святого Твоего угодника Николая Чудотворца!» И вдруг как-то странно и быстро успокоилась. Волнение улеглось, и на душе стало светло и спокойно. Но ненадолго; когда коридорные девушки стали развешивать по доскам всевозможные географические карты, а на столе поставил глобус, приготовили бумагу и чернильницы, сердце мое екнуло.

Но вот появилась начальница, за ней учитель географии, другой учитель, инспектриса, прочли молитву, и экзамен начался.

Я сидела как к смерти приговоренная и, к ужасу моему, замечала, что экзаменуемые воспитанницы вытягивали билеты из первого десятка. Значит, для меня из этого десятка уже не останется!

«Что будет, то будет!» — думала я, дрожа, как в лихорадке.

Положим, если бы я провалилась, мне дали бы переэкзаменовку, но что должна была почувствовать моя душа, самолюбивая маленькая душа гордой девочки?

— Какая ты бледная, Люда! Ты боишься? — прошептала Краснушка, подсевшая ко мне на

пустое Нинино место. — На тебе вот, возьми, это помогает... с Валаама... сунь за платье и, когда будешь подходить к столу вынимать билет, дотронься...

Она протягивала мне маленький образок... Я взглянула и ахнула: Николай Чудотворец! Поцеловав образок, я его положила на грудь и спросила тихо Краснушку:

— Ты не знаешь, какие билеты остались?

— Кажется, последние и двадцатые есть... я отмечала...

— А из первых?.. — замирая, вырвалось у меня.

— Кажется, один первый остался...

Я пропала. Не могла же я вытянуть среди целой кучки оставшихся билетов счастливый первый, единственный, который я знала отлично...

«Что же это?» — как-то беспомощно мелькнуло в моих мыслях, и слезы обожгли глаза.

— Влассовская! — прозвучал в ту же минуту и отдался ударом молота в моей голове голос инспектора.

Я встала, точно кто толкнул меня сзади, и подошла к зеленому столу, предварительно дотронувшись до спрятанного образка Чудотворца. Сердце стучало, голова горела как в огне.

Я видела как в тумане чужого учителя-географа старших классов, пришедшего к нам в качестве ассистента, видела, как он рисовал карандашом карикатуру маленького человечка в громадной шляпе на положенном перед ним чистом листе с фамилиями воспитанниц, видела добродушно улыбнувшееся мне лицо инспектора, с удовольствием приготовившегося слушать хороший ответ одной из лучших воспитанниц.

— Как ты бледна, Влассовская... Что с тобою? — спросил меня приветливый голос начальницы.

Я как-то криво улыбнулась... Все завертелось перед моими глазами: зеленый стол, экзаменаторы, карикатура маленького человека в большой шляпе, роковая кучка билетов... и я протянула руку...

— Который? — бесстрастно спросил Алексей Иванович, привыкший к экзаменационным «тряскам».

Я повернула билет и чуть не вскрикнула...

— Номер первый!

Не берусь описать нахлынувшего на меня чувства умиленной благодарности, религиозного восторга и невыразимой бурной радости...

Первый номер!.. Я была твердо убеждена, что тут произошло чудо — чудо благодаря образку Николая Чудотворца... Вот она, великая сила детской веры!

Нужно ли говорить, как сочно, — да, именно сочно и толково поясняла я, сколько частей света, сколько мысов и их названия, как граничат эти части света! При этом я удивительно точно обводила по карте границы черной лакированной линеечкой.

О, эта карта с громадной дырой на месте Каспийского моря и кляксой у Нью-Йорка, карта колоссальных размеров, вместившая в себя все пять частей света, — как я ее полюбила! Да, всех я любила в этот день... не исключая и строгого Алексея Ивановича, которого боялась не меньше других.

Я кончила.

— Хорошо, внучка! Молодцом доложила, — проговорил он, нимало не стесняясь начальства и тут же поставил около моего имени жирное, крупное 12 и тотчас добавил:

— Крестов не полагается, это не Закон Божий.

Я хотела было вернуться на место, но Мамап поманила меня, и я приблизилась к ее креслу.

— Ну вот, теперь ты порозовела, а то была бела как бумага, — трепля меня по заалевшей щечке, ласково проговорила она и потом, поглядев на меня пристально, добавила: — Можешь написать матери, что мы тобой очень довольны!

Еле держась на ногах от охватившего меня счастья, безумного счастья, неожиданного, вымоленного мною, я пошла на место и тут же вполголоса, все еще сияя, рассказала Краснушке, под большим секретом, чудесный случай со мною.

— Да, это чудо! Чудо! — твердила не менее меня восторженная Маруся и, перекрестившись, приложила к вынутому мною из корсажа маленькому образочку с Валаама.

— Непременно попрошу маму подарить мне такой же образок Николая Чудотворца! — решила я тут же.

В этот вечер за всю ночь (это было как раз в субботу) в продолжение целой службы я не спускала со святого угодника сиявших благодарностью глаз и молилась так горячо, беззаветно молилась, как вряд ли умела молиться прежде...

Глава XXII. Болезнь Нины

К экзамену немецкого языка мы усиленно готовились, не выходя из сада — ароматного и цветущего, когда вдруг молнией блеснуло и поразило нас страшное известие:

— Княжна безнадежна...

Дней пять тому назад она еще разговаривала с нами с лазаретной террасы, а теперь вдруг эта ужасная, потрясающая новость!

Было семь часов вечера, когда прибежавшая с перевязки Надя Федорова, вечно чем-нибудь и от чего-нибудь лечившаяся, объявила мне желание княжны видеть меня.

Я как безумная сорвалась со скамьи и бегом, через весь сад, кинулась в лазарет. У палаты Нины девушка удержала меня.

— Куда вы? Нельзя! Там доктор и начальница!

— Значит, Нина очень больна? — спросила я с замиранием сердца Машу.

— Уж куда как плохи! Даже доктор сказал, что надежды нет. Не сегодня завтра помрут!

Что-то ударило мне в сердце, оттуда передалось в голову и больно-больно заняло где-то внутри.

— Умрет! Не будет больше со мною! Умрет!.. — беззвучно повторяли мои губы.

Отчаяние, тоска охватили меня... Я чувствовала ужас, холодный ужас перед неизбежным! Точно что-то упало внутри меня. А слез не было. Они жгли глаза, не выливаясь наружу...

Дверь из комнаты Нины отворилась, и вышла Маман, очень печальная и важная, в сопровождении доктора. Они меня не заметили. Проходя совсем близко от меня, Маман произнесла тихо, обращаясь к доктору:

— Утром послана телеграмма отцу... Протянет она дня три-четыре, доктор?

— Вряд ли, княгиня, — грустно ответил доктор.

— Бедный, бедный отец! — еще тише проговорила начальница и, как мне показалось, смахнула слезу.

Из всего слышанного я не могла не понять, что часы моей подруги сочтены. И опять ни слезинки. Один тупой, жгучий ужас...

Не знаю, как я очутилась у кровати Нины.

Нина лежала, повернув голову к стене. Вся она казалась маленькой, совсем маленькой, с детским исхудалым личиком, на котором чудесно сверкали два великолепных черных глаза.

Эти глаза своим блеском ввели меня в заблуждение.

«Не может быть у умирающей таких блестящих глаз», — подумала я.

Но потом мне объяснили, что ей дали для облегчения какое-то особое средство, от которого глаза получают блеск.

Я подошла к постели Нины совсем близко и хотела поцеловать ее. Помню, меня поразило выражение ее худенького, изнуренного болезнью личика. Оно точно ждало чего-то и в то же время недоумевало.

— Ниночка, трудно тебе? — тихо спросила я, стараясь вложить в мой вопрос как можно больше нежности и ласки.

Она неторопливо отвела от стены свои блестящие глаза и взглянула на меня...

Умру — не забуду я этого взгляда...

«За что? За что?» — говорили, казалось, ее глаза, и выражение обиженной скорби легло на это кроткое личико.

— Трудно, Люда! — проговорила она каким-то глухим, хриплым голосом. — Трудно! Я боюсь, что не скоро поеду теперь на Кавказ...

И опять эти обиженные, страдающие глазки!

Бедная моя Нина! Бедная подружка!

Она закашлялась... Из коридора бесшумно и быстро вошла Матенька с каким-то лекарством.

— Княжна, родненькая, золотая, выкушайте ложечку, — склоняясь над больной, просящим голосом говорила старушка.

— Ах нет, не надо, не хочу, все равно не помогает, — капризно, глухим голосом возразила Нина.

И вдруг заплакала навзрыд...

Матенька растерялась и, не решаясь беспокоить княжну, выскользнула из комнаты. Я не знала, как остановить слезы моей дорогой подруги. Обняв ее, прижав к груди ее влажное от слез и липкого пота личико, я тихо повторяла:

— Нина, милая, как я люблю тебя... люблю... милая...

Мало-помалу она успокоилась. Еще слезы дрожали на длинных ресницах, но губы, горячие, запекшиеся бледные губы уже старались улыбнуться.

— Ниночка, ненаглядная, не хочешь ли повидать Иру? — спросила я, не зная, чем утешить больную.

Она пристально взглянула на меня и вдруг почти испуганно заговорила:

— Ах, нет, не надо, не зови...

— Отчего, дорогая? Разве ты разлюбила ее?

— Нет, Люда, не разлюбила, а только... она чужая... да, чужая... а теперь я хочу своих... своих близких... тебя и папу... Я просила ему написать... Он приедет... Ты увидишь, какой он добрый, красивый, умный... А Ирочки не надо... Не понимает она ничего... все о себе... о себе.

Княжна, казалось, утомилась долгой речью. В углах рта наikipала розоватая влага. Голова с бледным, помертвевшим лицом запрокинулась на подушку, в груди у нее странно-странно зашипело.

«Умирает, — с ужасом промелькнула у меня мысль, — умирает!»

И я застыла в безмолвном отчаянии...

Но она не умирала. Это был один из ее приступов удушья, частых и продолжительных.

Скоро Нина оправилась, взяла меня за руку своей бледной, маленькой, как у ребенка, ручкой, попробовала улыбнуться и прошептала:

— Поцелуй меня, Люда!

Я охотно исполнила ее просьбу: я целовала эти милые изжелта-бледные щеки, чистый маленький лоб с начертанной уже на нем печатью смерти, запекшиеся губы и два огромных чудесных глаза...

Теперь мне неудержимо хотелось плакать, и я делала ужасные усилия, чтобы сдержаться.

Мы молчали, каждая думая про себя... Княжна нервно пощипывала тоненькими пальчиками

запекшиеся губы... Я слышала, как тикали часы в соседней комнате да из сада доносились резкие и веселые возгласы гулявших институток. На столике у кровати пышная красная роза издавала тонкий и нежный аромат.

— Это Мамап принесла! Добрая, заботится обо мне, — нарушила Нина молчание и вдруг проговорила неожиданно: — Знаешь, Люда, мне кажется, что я не увижу больше ни Кавказа, ни папы!

— Что ты! Что ты! Ведь он едет к тебе! — испуганно возразила я.

— Да, но я его уже не увижу... — не грустно, а точно мечтательно произнесла княжна и вдруг улыбнулась светло и печально.

Так и осталась эта улыбка на ее губах... Мы снова помолчали. Мучительно тяжело было у меня на душе. Я закрыла лицо руками, чтобы не пугать Нину моим убитым видом. Когда я опустила руки, то заметила на губах ее, шептавших что-то чуть внятно, все ту же светлую, странную улыбку. Наклонив ухо, я с трудом услышала ее лепет, поразивший меня:

— Эльфы... светлые маленькие эльфы в голубом пространстве... Как хорошо... Люда... смотри! Вот горы... синие и белые наверху... Как эльфы кружатся быстро... быстро!.. Хорош твой сон, Люда... А вот орел... Он близко машет крыльями... большой кавказский орел... Он хватает эльфа... меня... Люда!.. Ах, страшно... страшно... больно!.. Когти... когти!.. Он впился мне в грудь... больно... больно...

Улыбка сбежала с ее лица, и оно как-то сразу сделалось темным и страшным от перекосившей его муки испуга.

Рыдая, я выбежала звать фельдшерицу.

— Она умирает! — вне себя кричала я, хватаясь за голову и трясясь всем телом.

Прибежала фельдшерица, за ней вскоре начальница, и мне велели уйти.

Это был второй страшный припадок, кончившийся, однако, более благополучно, нежели я думала.

Через полчаса меня позвали снова.

Глава XXIII. Прости, родная

Странно успокоенная лежала Нина, когда я опять склонилась над нею. Ее дыхание со свистом вылетало из груди, и глаза как бы померкли. Увидя меня, она пыталась улыбнуться и не могла.

— Люда, наклонись ниже... — расслышала я ее чуть внятный шепот.

Я поспешила исполнить ее желание.

— У меня на кресте медальон... ты знаешь... в нем моя карточка и мамина... Возьми этот медальон себе на память... о бедной маленькой Нине!

На страшной своей худобой грудке блестел этот маленький медальон с инициалом княжны из бриллиантиков. Я не раз видела его. С одной стороны была карточка матери Нины — чудной красавицы с чертами грустными и строгими, а с другой — изображение самой княжны в

костюме маленького джигита, с большими, смеющимися глазами.

Я не решалась принять подарка, но Нина с упрямым раздражением проговорила через силу:

— Возьми... Люда... возьми... я хочу!.. Мне не надо больше... Я люблю тебя больше всех и хочу... чтобы это было твое... И еще вот возьми эту тетрадку, — и она указала на красную тетрадку, лежавшую у нее под подушкой, — это мой дневник, мои записки. Я все туда записывала, все... все... Но никому, никому не показывала. Там все мои тайны. Ты узнаешь из этой тетрадки, кто я... и как я тебя любила, — тебя одну из всех здесь в институте...

Тут я не выдержала и горько заплакала, прижимая к губам оба подарка Нины.

— Бедная Люда, бедная Люда, как тебе скучно будет одной! — каким-то унылым голосом проговорила она и вдруг, точно виноватая, добавила с неизъяснимым чувством глубокой любви и нежности:

— Прости, родная!

Новая тишина воцарилась в комнате. Опять одно только тиканье часов нарушало воцарившееся безмолвие... Прошла минута, другая — прежнее молчание. Я подождала немного — ни звука... Княжна дремала, положив худенькую ручку на грудь, а другою рукой перебирала складки одеяла и сорочки быстрым судорожным движением.

Я тихо позвала: «Нина!» Ответа не было... Пальцы перебирали все медленнее и медленнее; наконец, рука бессильно упала на постель.

Она забылась сном, беспомощная и прелестная духовной трогательной красотой...

Я долго-долго смотрела на нее, а потом на цыпочках вышла из комнаты.

В эту ночь я спала немного и тревожно, поминутно просыпаясь и вперяя беспокойные взоры в неприятную своей серою мглою майскую теплую ночь.

Под утро я заснула очень крепко и как-то болезненно ахнула, когда услышала звонок, будивший нас.

«Что-то Нина?» — мучительно думалось мне.

Мы сошли в столовую и уже приготовились к молитве, как вдруг неожиданно вошла Мамап, бледная, с усталыми и красными глазами.

— Дети, — дрожащим голосом проговорила она громко, — ваша маленькая подруга княжна Нина Джаваха скончалась сегодня ночью!

Какие-то темные круги пошли у меня перед глазами.

Я потеряла сознание...

.....

Она лежала худенькая-худенькая и невероятно вытянувшаяся в своем небольшом, но пышном белом гробу. Ей казалось теперь лет пятнадцать-шестнадцать, этой маленькой одиннадцатилетней девочке.

Матенька заботливо расчесала роскошные косы княжны и окутала всю ее двумя мягкими волнами черных кудрей. На восковом личике с плотно сомкнутыми, точно слипшимися стрелами ресниц смерть запечатлела свой холодом пронизанный поцелуй.

Оно было величаво-покойно и как-то важно, это недетское лицо, мертвое и прекрасное новой таинственной красотой. Странно, резко выделялись на изжелта-белом лбу две тонкие, прямые черточки бровей, делавшие строгим, почти суровым бледное мертвое личико.

Оно было величаво-покойно и как-то важно, это недетское лицо, мертвое и прекрасное новой таинственной красотой. Странно, резко выделялись на изжелта-белом лбу две тонкие, прямые черточки бровей, делавшие строгим, почти суровым бледное мертвое личико.

Ее перенесли в полдень в последнюю палату, поставили на катафалк из белого газета серебром и золотом вышитый белый гроб с зажженными перед ним с трех сторон свечами в тяжелых подсвечниках, принесенных из церкви. Всю комнату убрали коврами и пальмами из квартиры начальницы, превратив угрюмую лазаретную палату в зимний сад.

Мы окружили гроб с милыми останками княжны и, в ожидании панихиды, слушали всхлипывающую Матеньку.

— Уж так она тихо-тихо отошла, голубка наша белая, — говорила добрая сиделка плачущим голосом. — Ни стоны, ни жалобы... Только все просила: «Отнеси меня в сад на лужайку, Матенька, я небо хочу видеть». Потом все барышню Влассовскую звала: «Люда, говорит, Люда, приди ко мне...» Все о Кавказе бредила, о горах да о крылышках каких-то... и к утру забылась немного... Ну я, грешным делом, сама тоже вздремнула. Только чувствую, кто-то мне точно в лицо дунул... Гляжу, а княжна-то, голубушка, на постельке сидит, ручки вперед протянула, а лицо такое светлое-светлое у нее. «Прощай, — шепчет мне, и самое-то чуть слышно, — за мной мама пришла... на Кавказ едем...» Побледнела как простыня и упала на подушку... Так и скончалась святая душенька ангельская... — закончила свой рассказ Матенька.

Наши некоторые заплакали, другие зарыдали навзрыд, а у меня не было слез. Точно клещами сдавило мне грудь, мешая говорить и плакать. Прислонившись к гробу, я судорожно схватилась за его край, едва держась на ногах.

— Вы бы прилегли малость, — посоветовала мне Матенька, испуганная моим видом, — не свалиться бы вам. Ишь ведь, бледные стали... не лучше покойницы!

Я едва слышала ласковую старушку и не отходила от княжны, впиваясь в лицо покойной сухими, жадными и скорбными глазами. Ужасное, невыразимое, никогда не испытанное еще горе со страшною силою охватило меня.

«Ее нет, а ты, ты одинока теперь, — твердило мне что-то изнутри, — умерла, уснула навсегда твоя маленькая подруга, и не с кем будет делить тебе здесь горе и радость...» «Прости, родная», — звучал между тем в моих ушах глухой, болезненно-хриплый голос, полный невыразимой тоски и муки...

«Прости, родная!..» Что значили эти вещие слова княжны? Предчувствовала ли она инстинктом труднобольной свой близкий конец и прощалась со своей бедной маленькой подружкой или же трогательно-виновато просила у нее прощения за невольно причиняемое ей горе — вечную разлуку с нею, умирающей?

И вдруг быстрая мысль пронизала мой мозг. Сон об эльфах оказался вещим... Душа Нины высоко поднялась над нами, и прозрачная, чистая, как маленький эльф, утонула она в эфире

бессмертия...

Мои глаза были все так же сухи и в то время, когда дрожащие от волнения голоса старших пропели «Вечную память», когда кончилась панихида и отец Филимон, разжав восковые руки покойницы, положил в них образок святой Нины.

Чье-то рыдание, надрывающее душу, сухое и короткое, огласило комнату.

Это плакала Ирочка Трахтенберг, не успевшая проститься с княжной. Маман, с добрыми, покрасневшими глазами, в черном платье и траурной наколке, поднялась на ступени катафалка и, склонившись над своей мертвой любимицей, разгладила ее волосы по обе стороны белого и ровного, как тесемочка, пробора. Крупные, горячие слезы закапали на руки Нины, а губы Маман судорожно искривились, сиюсь удержать рыдания.

— Да, дети, это была золотая, благородная, честная душа! На редкость хорошая! — обратилась она к нам тихим, но внятнм голосом.

«Чистая! Честная! Святая! И лежит здесь без дыхания и мыслей, а мы, ничем не отличающиеся, шаловливые и капризные, будем жить, дышать, радоваться!..» — сверлило мой мозг, и каким-то озлоблением охватило мою детскую душу.

Четыре дня стояла покойница в ожидании приезда отца, которого уже известили по телеграфу о смерти Нины.

На пятый день он приехал во время панихиды, когда мы меньше всего ожидали его появления.

Он вошел быстро, внезапно, еще молодой и чрезвычайно красивый высокий брюнет, в генеральской форме. Он вошел мертвенно-бледный, с судорожно подергивающимися губами под черной полоской тонких, длинных усов и прямо направился к гробу.

Не решаюсь описать того страшного, мрачного отчаяния, которое я увидела на этом мужественном лице. Я помню только не то крик, не то стон, вырвавшийся из груди отца при виде мертвой дочери... Но это было до того потрясающе-мучительно, что мои нервы не выдержали, и я зарыдала в ответ на этот крик, зарыдала теми благотворными, отчаянными рыданиями, которые смягчают несколько тяжесть горя. А он все стоял, схватившись обеими руками за край гроба и впиваясь мрачно горевшими глазами в лицо своего единственного, навеки потерянного ребенка...

На другой день ее хоронили.

Отпевание было в нашей церкви, где столько раз так горячо молилась религиозная девочка.

Весна, так страстно любимая Ниной, хотела, казалось, приласкать в последний день пребывания на земле маленькую покойницу. Луч солнца скользнул по восковому личику и, ударясь о золотой венчик на лбу умершей, разбился на сотню ярких искр...

Она еще глубже опустила за два дня на своем последнем ложе и еще мертвеннее было заостренное личико; темные пятна, проступившие на нем, легли зловещими тенями.

«Боже мой, — думала я, мучительно вглядываясь в любимый образ, весь окутанный тонкой и прозрачной дымкой фимиама, — неужели я уже никогда не услышу ее милого голоса? Неужели все-все кончено?..»

А в ушах звенело и переливалось на тысячу ладов: «Прости, родная» — последние слова, обращенные ко мне подругой...

Одна за другой подходили институтки к гробу, поднимались по обитым черным сукном траурным ступеням катафалка и с молитвенным благоговением прикладывались к прозрачной ручке усопшей. Голоса старших едва звучали, задавленные рыданиями...

В этой безысходной тоске всей тесно сплотившейся институтской семьи видна была безграничная привязанность к маленькой княжне, безвременно вырванной от нас жестокою смертью... Да, все, все любили эту милую девочку!..

Ее похоронили в Новодевичьем монастыре, — так далеко от родины, куда она так стремилась последние дни!

Все время отпевания отец Нины не выпускал края гроба, не отрывал глаз от потемневшего мертвого личика. Когда гроб вынесли, он шел до монастыря не сзади, а сбоку белого катафалка с княжеской короной.

Прохожие, при виде печальной процессии, маленького гробика, скрытого под массою венков, целой колонны институток, следовавших за гробом, снимали шапки, истово крестились и провожали нас умиленными глазами.

Но больше всего поражал прохожих вид высокого, статного красавца генерала, идущего у самого гроба без шапки, с глазами блуждающими и страшными...

В монастырской церкви, при последнем прощании с дочерью, он не застонал и не зарыдал, как это всегда бывает. Все тот же мрачный, блуждающий взгляд, полный отчаяния... Когда начальница отрезала прядь черных кудрей его дочери и подала ему, он тупо посмотрел сначала на нее, потом на прядь, конвульсивно зажал в руке волосы и закрыл лицо рукою.

Все это я видела как сквозь сон. В ушах моих, заглушая пение и голос институток, звучали только последние слова моей дорогой Ниночки:

«Прости, родная!..»

Ее опустили в могилу, забросали землей, сровняли холмик и поставили на нем крест из белого мрамора с надписью:

Здесь покоится княжна Нина Джаваха-алы-Джамата.

Наверху креста значилось:

Спи с миром, милая девочка.

Князь долго-долго смотрел на холмик, на крест, на надпись, и взор его казался почти безумным.

Такого глухого, отчаянного горя я еще не видела.

В тот же день он уехал из Петербурга.

Глава XXIV. Выпуск. Сюрприз

Потянулись тяжелые дни одиночества. Я тосковала по Нине, мало ела, мало говорила, но зато

с невыразимым рвением принялась за книги. В них я хотела потопить мое горе... Два оставшихся экзамена были довольно легкими, но мне было чрезвычайно трудно сосредоточиться для подготовки. Глубокая тоска — следствие бурного душевного потрясения — мешала мне учиться. Частые слезы туманили взор, устремленный на книгу, и не давали читать.

Я напрягла все свои усилия и выдержала два последних экзамена так же блестяще, как и предыдущие... Помню, как точно во сне отвечала я на задаваемые вопросы, помню похвалы учителей и ласковые слова начальницы, которая, с кончиной ее любимицы, перевела на меня всю свою нежность.

— Совсем ты изменилась, девочка, — говорила Маман. — Привезли тебя румяным украинским яблочком, а увезут хилой и бледной. Знаю, знаю, как тяжело терять близких, и понимаю, как тебе грустно без Нины. Ты ведь ее так любила! Но, милая моя, на все воля Божья: Нину отозвал к себе Господь, а воля Его святая, и мы не должны роптать... Впрочем, — прибавила Маман, — Нина все равно долго бы жить не могла; она была такая хилая, болезненная, и та роковая болезнь, которая свела так рано ее мать в могилу, должна была непременно отразиться и на Нине... И потому, — заключила княгиня, — не горюй о ней...

Видя, что мои глаза застлались слезами при воспоминании о милой подруге, Маман поспешила прибавить:

— А учишься ты прекрасно! Пожалуй, первую ученицей будешь в классе.

Первой ученицей! Я об этом не думала, но слова Маман невольно наполнили мое сердце самыми честолюбивыми замыслами... В первый раз после смерти Нины я ощущала какое-то сладкое душевное удовлетворение. Быстро подсчитала я мои баллы и не без восторга убедилась, что они превосходят отметки Додо — самой опасной соперницы.

Спустя дня три нам роздали бюллетени с баллами.

Ура! Я была первой в классе!

Меня охватила на мгновение почти шумная радость, но — увы! — только на мгновение... Какой-то внутренний голос шептал мне зловеще: «Этого не было бы, если б княжна Джаваха не лежала в могиле, потому что Нина была бы непременно первой». И острая боль потери мигом заглушила невинную радость...

Я написала маме еще до Нининой смерти о моих успехах, потом послала ей телеграмму о кончине княжны, а теперь отправила к ней длинное и нежное письмо, прося подробно написать, кого и когда прийдет она за мною, так как многие институтки уже начали разъезжаться...

А между тем институтская жизнь обогатилась еще одним событием, происходившим ежегодно в конце мая: наступил день выпуска и публичного акта старших.

Накануне лучшие ученицы из выпускных, окончивших институт, ездили во дворец получать высшие награды из державных рук Государыни. Мы, младшие, с волнением смотрели на ряд карет, подъехавших к зданию института, в которых наши выпускные в парадных платьях отправились во дворец, и с нетерпением ждали их возвращения. Они вернулись восхищенные, умиленные лаской Августейших хозяев, и показывали покрытые бриллиантами шифры и золотые и серебряные медали, которые рельефно выделялись на голубом бархате футляров, увенчанных коронками.

В день выпуска была архиерейская служба, мало, однако, подействовавшая на религиозное настроение выпускных. Виновицы торжества поминутно оглядывались на церковные двери, в которые входили их родственники, наполняя церковь нарядной и пестрой толпой...

После обедни нас повели завтракать... Старшие, особенно шумно и нервно настроенные, не касались подаваемых им в «последний раз» казенных блюд. Обычную молитву перед завтраком они пропели дрожащими голосами. После завтрака весь институт, имея во главе начальство, опекунов, почетных попечителей, собрался в зале. Сюда же толпой хлынули родные, приехавшие за своими ненаглядными девочками, отлученными от родного дома на целых семь лет, а иногда и больше.

Публичный акт начался.

Исполнен был народный гимн, после которого девочки поочередно подходили к столу, за которым восседало начальство, низко приседали и получали наградные книги, аттестаты и Евангелие с молитвенником «в память института», как выражалась начальница.

После раздачи наград начальство обходило выставку ручных работ и рукоделий девочек.

Тут выделялся портрет самой Маман, мастерски исполненный масляными красками одною из старших.

Воспитанницы пели, играли в 4, 8 и 16 рук, показывая все свое искусство, приобретенное ими в стенах института.

Наконец зал огласился звуками прощальной кантаты, сочиненной одною из выпускных и положенной на ноты ее подругой. В незамысловатых сердечных словах, сопровождаемых такою же незамысловатою музыкой, прощались они со стенами института, в которых протекало их детство, резвое, беззаботное, веселое, прощались с товарками и подругами, прощались с начальницей, с доброй матерью и наставницей, с учителями, пролившими яркий свет учения в детские их души.

Особенно трогательно было прощание подруг между собою, с поминутно прерывающимися звуками кантаты, готовой оборваться каждое мгновение.

Прощайте, подруги, Бог знает, когда
Мы с вами увидимся снова...
Так пусть же почиет над каждой из нас
Его благотворное Слово... —

выводил, усиленно сдерживая рыдания, дружный девичий хор.

Кантата смолкла...

Начались слезы, возгласы, рыдания... Молодые девушки прощались, как родные сестры, на вечную разлуку. Боже мой! Сколько было здесь искренних поцелуев, сколько слез горячих и светлых, как сама молодость!

Прощания кончились...

К институткам подошли опекуны, начальство... Маман сказала речь, трогательную и прочувствованную, где коснулась наступающих для выпускных новых обязанностей добрых семьянинок и полезных тружениц.

— Я надеюсь, милые дети, — так закончила свою речь княгиня, — что вы, вспоминая про институт, вспомните раз-другой и вашу Маман, которая была иной раз строга, но душевно вас любила.

Едва она успела кончить, как все эти пылкие юные девушки окружили ее, со слезами целуя ее руки, плечи, лепеча слова любви, признательности...

Потом они побежали в дортуар — переодеваться в праздничные наряды, ожидавшие их наверху.

Я невольно поддалась гнетущему настроению. Вот здесь, в этой самой зале, еще так недавно стояла освещенная елка... а маленькая чернокудрая девочка, одетая джигитом, лихо отплясывала лезгинку... В этой же самой зале она, эта маленькая черноокая грузиночка, поверяла мне свои тайны, мечты и желания... Тут же гуляла она со мною и Ирой, тут, вся сияя яркой южной красотой, рассказывала нам она о своей далекой, чудной родине.

Где она, милая, чернокудрая девочка? Где он, маленький джигит с оживленным личиком? Где ты, моя Нина, мой прозрачный эльф с золотыми крылышками?..

Не торопясь последовала я за нашими на церковную паперть, опираясь на руку Краснушки, особенно льнувшей ко мне со смертью моей бедной подружки.

Маруся Запольская, сердечная, добрая девочка, чутко поняла все происходившее в моей душе и всеми силами старалась меня рассеять.

Через полчаса на паперть выходили выпускные в воздушных белых платьях, в сопровождении родных и помогавших им одеваться воспитанниц других классов. Они заходили на минутку в церковь, а затем по парадной лестнице спускались в швейцарскую.

Петр, весь блестящий своей парадной формой, с эполетами на плечах и алебардой в руках, широко распахивал двери перед вновь выпущенными на свободу молодыми девушками.

И какие они были хорошенькие — все эти Маруси, Раечки, Зои, в их грациозных нарядах, с возбужденными, разгоревшимися, еще почти детскими личиками. Вот идет Ирочка. Она сдержаннее, серьезнее и как бы холоднее других. Ее платье роскошно и богато... Белый шелковый лиф с большим бантом удивительно идет к лицу этой гордой «барышни».

Ирочка — аристократка, и это сразу видно...

Не потому ли так любила ее чуткая и гордая Нина?

Ирочка прошла паперть и готовилась спуститься вниз, но вдруг, обернувшись, заметила меня и быстро приблизилась.

— Влассовская, — произнесла она, мило краснея и отводя меня в сторону, — будущую зиму я приеду из Стокгольма на три сезонных месяца. Вы позволите мне навестить вас в память Нины?.. Я бы так желала поговорить о ней... но теперь ваша рана еще не зажила и было бы безжалостно растревлять ее...

Я изумилась.

От Ирочки ли услышала я все это?

— Вы ее очень любили, mademoiselle Трахтенберг? — невольно вырвалось у меня.

— Да, я ее очень любила, — серьезно и прочувствованно ответила она, и тихая грусть разлилась по этому гордому аристократическому личику.

— Ах, тогда как я рада вам буду! — воскликнула я и детским порывом потянулась поцеловать моего недавнего злейшего врага...

Последние выпускные уехали, и институт сразу точно притих.

Понемногу стали разъезжаться и остальные классы. Я целые дни проводила в саду с книгой на коленях и глазами, устремленными в пространство, мечтала до утомления, до бреда.

Однажды в полдень, после завтрака, я одиноко гуляла по задней аллее, где так часто бывала с моей ненаглядной Ниной. Мои мысли были далеко, в беспредельном, голубом пространстве...

Вдруг в конце аллеи показалась невысокая, стройная фигура дамы в простом темном платье и небольшой шляпе.

«Верно, к начальнице...» — мелькнуло в моей голове, и, не глядя на незнакомку, я сделала реверанс, уступая ей дорогу.

Дама остановилась... Знакомое, близкое, дорогое, родное лицо мелькнуло из-под темной сетки вуали.

— Мама!!! — отчаянно, дико крикнула я на весь сад и упала к ней на грудь.

Мы обе зарыдали неудержимыми, счастливыми рыданиями, целуя и прижимая друг друга к сердцу, плача и смеясь.

— Ах! Как я счастлива, что опять вижу тебя, Людочка, моя дорогая Людочка!.. Покажи-ка, изменилась ли ты... Я уже думала, что никогда тебя не увижу... — всхлипывая, шептала мама и опять целовала и ласкала меня.

Я взглянула на нее: почти год разлуки со мною не прошел ей даром. Ее худенькое, миниатюрное личико было по-прежнему трогательно-моложаво. Только новая морщинка легла между бровями да две горькие складки оттянули углы ее милого рта. Небольшая пышная прядь волос спереди засеребрилась ранней сединою...

— Как ты выросла, Люда, моя рыбка, моя золотая, да и какая же ты бледненькая стала! И кудрей моих нету!.. — говорила мама, оглядывая меня всю широким любящим взглядом, одним из тех, которые не поддаются описанию.

Мы обнялись крепко-крепко и пошли вдоль аллеи.

— Мамочка, а как же Вася? Ты решила оставить его одного? — спросила я, сладко замирая от прилива нежности.

Она в ответ только счастливо улыбнулась:

— Он здесь.

— Кто? Вася?

— Ну конечно, здесь, приехал со мною за сестренкой. Он идет сюда с твоими подругами... Я нарочно не взяла его с собою, чтобы не нарушить бурной радости нашего первого свиданья... Да вот и он!

Действительно, это был он, мой пятилетний братишка, миниатюрный, как девочка, с отросшими за зиму новыми кудрями, делавшими его похожим на херувима. В один миг я бросилась вперед, схватила его на руки, так, что щегольские желтые сапожки замелькали в воздухе да белая матроска далеко отлетела с головы...

— Милый мой, хороший мой! — повторяла я как безумная, — узнал, узнал Люду?

— Узнал? Конечно, узнал! — важно сказал мальчик. — Ты такая же, только стлизеная.

Новые поцелуи, смех, шутки окруживших его институток...

Я была как в чад, пока сбрасывала «казенную» форму и одевалась в мое «собственное платье», из которого я немного выросла. Сейчас же после этого мы отправились с мамой за разными покупками, потом обедали с мамой и Васей в небольшом номере гостиницы... Опомнилась я только к ночи, когда, уложив Васю на пузатом диванчике, я и мама улеглись на широкую номерную постель.

Мы проболтали с ней до рассвета, прижавшись друг к другу.

На другой день, в 10-м часу утра, мы все трое были уже на кладбище, перед могилкою моего почившего друга. Мы опустились на колени перед зеленым холмиком, покрытым цветами. Мама проговорила со слезами на глазах:

— Мир праху твоему, незабвенная девочка! Спасибо тебе за мою Люду!

И она поклонилась до земли милой могилке.

Я повесила на белый мрамор креста голубой венок незабудок и тихо шепнула: «Прости, родная!» — удивляя брата, не спускавшего с меня наивных детских глазенок.

А птицы пели и заливались в этом мертвом, благоухающем цветами царстве...

Мы с мамой встали с колен, вытирая невольные слезы...

Мне не хотелось покидать дорогую могилу, но надо было торопиться. Вещи оставались неужоженными, а поезд уходил в три часа.

Я еще раз взглянула на белый крестик и, прижав к груди медальон, подаренный мне Ниной, мысленно поклялась вечно помнить и любить моего маленького друга...

Возвратившись в гостиницу, я быстро сложила мои книги и тетради. Среди последних была отдельно завернутая дорогая красная тетрадка, которую передала мне перед самой смертью Нина. Я все не решалась приняться за ее чтение. Мама уже знала из моего письма об этом подарке Нины.

— Приедем домой и вместе примемся за чтение записок твоей подруги, — сказала она.

Только что успели мы уложить все наши вещи, как слуга доложил, что меня желает видеть какой-то генерал. И я и мама — обе мы были ужасно удивлены.

— Просите, — сказала мама.

Спустя минуту в комнату вошел пожилой генерал с очень приветливым лицом.

— Я пришел по поручению моего племянника, генерала князя Джавахи, — начал он. — Князь Джаваха просил меня передать вам, милая девочка, его глубокую и сердечную благодарность за вашу привязанность к его незабвенной Нине. Она часто и много писала отцу про вашу дружбу... Князь во время своего пребывания в Петербурге был так расстроен смертью дочери, что не мог лично поблагодарить вас и поручил это сделать мне... Спасибо вам, милая девочка, сердечное спасибо...

Я не могла удержаться при этом напоминании о моей дорогой, незабвенной подруге и расплакалась.

Генерал нежно обнял меня и поцеловал.

Потом он разговорился с мамой, расспрашивал про наше житье-бытье, спросил о покойном папе.

— Как! — воскликнул генерал, когда мама сообщила ему о военной службе папы. — Значит, отец Люды тот самый Влассовский, который пал геройской смертью в последнюю войну! О, я его знал, хорошо знал!.. Это был душа-человек!.. Я счастлив, что познакомился с его женою и дочерью. Как жаль, что вы уже уезжаете и что я не могу пригласить вас к себе! Но надеюсь, вы осенью привезете вашу дочь обратно в институт?

— Разумеется, — ответила мама.

— Ну, так время еще не ушло! — воскликнул генерал. — Я ведь буду жить теперь в Петербурге. Когда ваша дочь вернется, я ее часто буду навещать в институте. Надеюсь, что и она будет бывать у нас, а в будущие каникулы, быть может, мы все вместе поедем на Кавказ посмотреть на места, где жила Нина... Пусть ваша дочь считает, что у нее теперь двумя родственниками больше: генералом Кашидзе, другом ее отца, и князем Джавахой, отцом ее безвременно умершей подруги...

Все это было сказано очень трогательно, искренно. На глазах старика генерала показались даже слезы. Взволнованный, он распростился с нами и обещал в это же лето побывать у нас на хуторе.

Часов через пять, шумя колесами и прорезывая оглушительным свистом весенний воздух, поезд мчал нас — маму, меня и Васю — в далекую, желанную, родимую Украину...